

TALLINNA  
KESK-  
RAAMATU-  
KOGU

EX LIBRIS





ТАМАРА СОЛОНЕВИЧ

Spetsiaalne fond

2.8.1935

Т Р И Г О Д А  
В  
БЕРЛИНСКОМ  
ТОРГПРЕДСТВЕ

463.510

ENSV  
Riiklik Avalik  
Raamatukogu

46848

~~SV 9279~~

TALLINNA KESK-  
RAAMATUKOGU

Издательство „Голос России“  
София — 1938

TALIMMA KEK-  
RAMATUKOGU

Copyright by Mr Iv. Solonewich

TALLINNA KESK-  
RAAMATUKOGU

ЛИНДЕНШТРАССЕ № 21—25

Одна из крупных артерий Берлина, соединяющая Бель-Альянс-Платц с восточной частью города, — Линденштрассе. По правой стороне, пройдя огромное здание, в котором раньше помещался „Форвертс“, перейдя Хольманн-Штрассе, вы подходите к четырехэтажному массиву страхового общества „Виктория“. Красивое здание, с характерной для берлинских домов графитовой крышей, рассчитанное на столетия, с толстыми стенами и импозантными антрэ.

Это Линденштрассе № 21-25. В этом прекрасном здании помещалось до 1935 года „Торговое Представительство СССР в Германии“. Веймарская республика и социал-демократический режим в Германии предоставляли советскому правительству и Коминтерну широкое поле деятельности. Торговые отношения между Германией и СССР процветали, ассигновывались трехсотмиллионные кредиты, большевики лихорадочно вывозили в Германию мороженых гусей, яйца и хлеб, отнимая все это у несчастного, голодного русского мужика, и ввозили машины и оборудование для того, чтобы вооружиться до зубов. Как теперь оказывается — вооружиться против той же Гер-

мании. Звучит парадоксально, но выходит так, что Германия своими собственными руками и силами своих собственных инженеров вооружила СССР против самой себя.

Под прикрытием полпредства и торгпредства советские агенты с невероятной и дьявольской ловкостью вели пропаганду, увеличивали тираж „Роте Фане“, вскармливали компартию и всяческие ее филиалы, пока не пришел Гитлер и его штурмовики, положившие конец большевицкой свистопляске.

После 30-го января 1933 года, т. е. после прихода к власти Гитлера, торгпредство на Линденштрассе стало худеть и чахнуть. Сперва у большевиков, правда, были еще надежды на то, что правительство Гитлера долго не продержится. Но время шло, правительство крепло, завоеывая все новые и новые позиции. Большевикам надо было искать новых друзей, а главное — вербовать в других странах наивных пролетариев, чтобы составить единый фронт против ненавистного национал-социализма. И так как существующая в СССР „монополия внешней торговли“ всегда была учреждением более политическим, чем экономическим,—заказы были переданы постепенно в другие страны, и гуси поехали вместо Германии в Англию. Великолепное помещение на Линденштрассе, за которое уплачивалось в год больше полумиллиона марок, было, скрепя сердце, очищено, а жалкие остатки торгпредства перекочевали в собственный, советского правительства, дом (по сравнению с домом „Виктории“ — домик) № 11 на Литценбурген-



штрассе, в Вестене. Там оно упокояется и поныне. Из 1200 служащих осталось теперь едва ли больше ста пятидесяти. *Sic transit gloria mundi.*

Волею судеб мне пришлось проработать в берлинском торгпредстве с января 1928 г. по март 1931 года, т. е. в самый разгар его деятельности. В эти годы на здание Линденштрассе, 21-25 были устремлены взоры многих и многих сотен германских купцов и промышленников. Ежедневно его посещали бесчисленные продавцы, покупатели, агенты и посредники. И каждый из них, переступая порог этого дома, чувствовал себя несколько неуверенно, как бы на вражеской территории.

В десять часов утра и в пять часов вечера отворялись массивные двери, впуская или выпуская сотни служащих торгпредства: стенографисток, машинисток, переводчиков, инженеров, приемщиков и просто большевиков, занимавших командные посты. Однако, в окнах торгпредства до поздней ночи светился огонь, так как более пятидесяти процентов так называемых „ответственных работников“ должны были работать без ограничения времени—а перегружены все были страшно.

Линденштрассе приспособилось к этой армии русских. На противоположной стороне открылись две эмигрантские столовки, где можно было получить и борщ, и гречневую кашу с молоком, и поросенка под хреном. Несмотря на то, что в самом торгпредстве была кантина (столовая и буфет), многие служащие, даже коммунисты, предпочитали обедать в русских

столовках напротив. Пока в один прекрасный день не вышел приказ: обедать только в кантине.

Немцы, жившие и торговавшие на Линденштрассе, в окрестностях торгпредства, смотрели на этих русских и думали: вот идут большевики. А между тем, до самого последнего времени настоящих большевиков, т. е. людей, преданных советской власти, в торгпредствах было очень мало. Большинство технического персонала являлось тогда, да является и теперь, беспартийными. Выходя из здания и завернув за угол, они облегченно вздыхали — я не шучу, я очень хорошо помню у себя этот вздох облегчения и какое-то внутреннее чувство освобождения всякий раз, когда я выходила из торгпредства и становилась самой обыкновенной прохожей, теряющейся в разношерстной толпе, фланирующей по улице. Потом, с опаской оглядываясь кругом, они покупали в газетных киосках тогда еще выходивший „Руль“ или парижское „Возрождение“, как нынче покупают, вероятно, „Голос России“ или „За Родину“. А поздно вечером, заперев двери и окна в меблированной комнате, снимаемой у какой-нибудь фрау Мюллер или фрау Шульц, они садились к столу и с наслаждением погружались либо в эти газеты, либо в эмигрантскую литературу. Чем ярче и грознее бичевали большевиков белые газеты, чем откровеннее разоблачали козни ГПУ — Агабеков, Беседовский или Дмитриевский — тем приятнее чувствовал себя советский служащий торгпредства. Воображаю, какое истинное наслаждение испытывают теперь беспартийные служащие

парижского, лондонского, берлинского и всяких других торгпредств, читая „Россию в концлагере“ или „Молодеж“ и ГПУ“! Прямо завидно становится.

В настоящих очерках я позволю себе рассказать кое-что о внутренней жизни торгпредства и о людях, которые в нем работали. В Берлине есть еще живые свидетели того, что в бытность мою торгпредской служащей, я была настроена крайне антибольшевицки. Эти люди — немцы, бывавшие в торгпредстве по делам и заходившие ко мне за справками, так как я ведала информационным бюро. У меня есть некая физиономическая способность — я почти с первого взгляда либо доверяю человеку, либо ему не доверяю, и нужно сказать, что ошибаюсь очень редко. Обычно после выдачи справки завязывался тот или иной разговор, и я с двух слов определяла своего посетителя. Из таких разговоров иногда зарождалось знакомство и даже нечто вроде дружбы, с большой долей откровенности в области политических взглядов. Эти люди могут подтвердить, что, служа по необходимости у большевиков, я ненавидела их всеми фибрами души, а также что описываемая мною атмосфера работы в торгпредстве соответствует действительности. Для пояснения того, как возможна в стенах торгпредства такая откровенность, должна сказать, что последний год у меня была совсем отдельная комната, где, кроме меня, никто не сидел.

Среди белой эмиграции, как и среди иностранцев, существует ошибочное мнение, что

всякий торгпредский служащий — личность подозрительная, чуть ли не имеющая отношение к ГПУ, потому что-де так, зря-кого за границу не пошлют. Я хочу и должна в корне опровергнуть это мнение. Ибо каждое советское торгпредство в любой стране — это та же „Россия в концлагере“. В нем есть, с одной стороны, правящая беспардонная большевицкая каста, и, с другой стороны, запуганный беспартийный советский служащий, который более или менее случайно командировается за границу, живет там под вечным страхом, что это блаженство вот-вот кончится, что он будет откомандирован обратно в советский ад, затем действительно откомандировывается, после чего у него на долгие годы остается светлое, но горькое воспоминание, которое сопровождает его неотлучно во все время пребывания его за границей. У каждого остаются в СССР родные и близкие, зачастую даже муж или жена, которых упорно не пускают за границу, и точно так же, как любой из эмигрантов трепещет за своих оставшихся „там“, избегая писать им или слать посылки, — каждый торгпредский служащий трепещет за своих и по мере своих сил стремится не провиниться перед советской властью — не только ради своей шкуры, а именно ради своих близких.

Лично я особенной трусливостью не отличаюсь, и я много позволяла себе в бытность мою в торгпредстве, вплоть до хождения в церковь на Фербеллинер Платц, но все же пойти на концерт, например, хора донских казаков Жарова я — признаюсь теперь со сты-

дом—так и не решилась. Ибо знала, что в зале будут непременно присутствовать несколько чекистов, которые будут следить — не пришел ли кто-нибудь из торгпредских послушать „бело-бандитский хор“.

## О МЕЧТЕ ПОПАСТЬ ЗАГРАНИЦУ

В моей книге „Записки советской переводчицы“ я уже писала, что верхом мечтаний большинства советских граждан является — вырваться за границу. Советская жизнь настолько тяжела, голодна, бесцветна и скучна, а о загранице, несмотря на все попытки советской власти не допустить никаких мало-мальски благожелательных сведений, все же просачиваются рассказы, как о чем-то светлом, свободном и похожем на старую Россию, — что такое стремление уехать вполне понятно. Недавно один из вернувшихся в Вену шутцбундовцев заявил на митинге:

— Если открыть границы СССР, то половина населения сбежала бы.

Я утверждаю, что не половина, а гораздо больше.

Будучи в Москве, я делала все от меня зависящее, чтобы попасть за границу, и я этого нисколько не стыжусь. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. В душе теплилась надежда на то, что таким путем и вся наша семья сможет впоследствии спастись от совет-

чины. Каким именно путем — было неясно, но надежда была.

Между Наркоминделом и его полномочными представительствами за границей — с одной стороны, и Наркомвнешторгом с торгпредствами — с другой, есть некоторая весьма существенная разница. Полпредства ведут почти исключительно дипломатическую и высоко-политическую работу. Поэтому и подбор служащих в них гораздо строже. В большинстве случаев — это люди политически грамотные, начетчики, зачастую прошедшие огонь, воду и медные трубы Коммунистической Академии. В полпредства уж не пошлют никого не проверенным, поэтому и „невозвращенцев“ из полпредств почти не бывает. Агабеков, Беседовский и Дмитриевский — вот и обчелся. Да и те стали невозвращенцами потому, что уж слишком далеко зашли, и надо было спасать свою шкуру.

Торговые представительства ведают де-юре торговлей, но де-факто занимаются вещами и посерьезнее — например, экономическим шпионажем. Кроме ведающей этими „заданиями“ (как принято в СССР называть секретные поручения) верхушки, состоящей из коммунистов, имеется целая армия специалистов: инженеров, техников и приемщиков.

В первые годы большевицкой власти, когда аппарат был еще не налажен, когда еще не было новых партийных спецов, за границу сплошь и рядом командировались беспартийные специалисты, которым в душе было в высшей степени противно заниматься экономическим шпионажем для поработителей их родины.

Многие из этих специалистов стали невозвращенцами, а многие, вернувшись в СССР, были за нерадивость или за неосторожность арестованы и сосланы в концлагеря.

По работе своей торгпредства, конечно, гораздо ближе внедряются в жизнь той страны, где они находятся. Но, в силу их коммерческой деятельности, им приходится иметь также большое количество технических работников, которые, в сущности, при посылке за границу до самого последнего времени проверялись очень слабо. Это, главным образом, беспартийные, сплошь и рядом политически малограмотные, так что для них большевикам приходится организовывать специальные курсы политграмоты. Впрочем, в самые последние годы аппарат торгпредств очень сильно почищен, и теперь попасть на работу в торгпредство почти так же трудно, как и в полпредство.

Интересно отметить тот факт, что полпредские служащие сторонятся торгпредских. Игнорируют их. Презирают, как нечто плебейское. Полпредские считают себя советской аристократией. В устроенном на широкую ногу клубе советской колонии в Берлине, который тогда находился на Дессауэрштрассе, полпредские служащие почти никогда не появлялись. Разве только по самым торжественным дням, да и то держались особняком.

Поэтому не надо смешивать служащих полпредств и технических работников торгпредств. Практика и опыт показали мне, что если в полпредствах каждый второй служащий—че-

кист, то в торгпредствах едва ли приходится один чекист на десять служащих.

## КАК Я ПОПАЛА ЗАГРАНИЦУ

От'езд за границу был сопряжен с большими трудностями. Наша семья была очень дружной, на нашем интимном наречии она называлась „развеселым семейством“. Муж мой, я и наш единственный сын Юрочка умудрялись жить своей собственной, даже в советских условиях, веселой жизнью. Между прочим, именно вследствие тяжелых советских условий, семейная жизнь в СССР приобретает совершенно особое значение. Если англичанин говорит: „my home — my castle“, то с тем большим правом любящий свою семью советский гражданин может сказать: моя семья — это единственное место, куда я не должен, не хочу и не могу допустить советского влияния. И действительно—на фоне пресловутой советской распущенности, аморальности и беспрестанной смены партнеров по семейному очагу имеется в СССР очень много семей, прочности которых мог бы позавидовать любой пуританин. Вот, чем-то вроде такой семьи была и наша. И муж мой, и я, правда, работали до изнеможения, иногда на двух-трех службах сразу, варились целые дни в ведьмином котле профинтернов, профсоюзов и прочих советских прелестей, приспособлялись, добывали картош-



ку, кусок мяса, селедку, негодовали на советскую бестолочь и страдали от издевательства над личностью, в котором большевики так изошрились. Но зато, вернувшись вечером в нашу салтыковскую голубятню\*), растопив большую печь, обогревавшую сразу всю квартиру, мы забирались на большой диван и уходили от действительности в нашу собственную, милую, дружную и уютную жизнь. Юрочка обычно влезал между нами, мы его тискали и мяли, он пищал и хохотал от удовольствия, папа выкапывал что-нибудь из своих бесчисленных мозговых запасов, мы слушали, и было нам тепло и уютно. И хоть на часы забывалось все то, что было там, за стенами...

Поэтому, вопрос об отъезде за границу был сопряжен с большой моральной борьбой: приходилось впервые на долгое время расставаться, оставлять мужа одного, лишать его общества горячо любимого им сына, а нас с Юрой — мужа, отца и друга. Вопрос о моем отъезде долго нами дебатировался. И когда, скрепя сердце, муж согласился нас отпустить, потому что все яснее становилась полная беспросветность советской жизни, все больше натягивались нервы, все безотраднее рисовалось будущее, — я решила подать второе заявление в Наркомвнешторг о моем желании быть командированной на заграничную работу.

На мое первое заявление, поданное в 1926 году, последовала резолюция, гласившая, что я

---

\*) См. мою книгу „Записки советской переводчицы“ или номера 30-57 газеты „Голос России“.

должна предварительно проработать два года в одном из московских учреждений, имеющих дела с границей или с иностранцами.

Теперь я имела за собой, пусть небольшой, но все же стаж переводчицы при иностранных делегациях и рекомендацию одного видного коммуниста, работавшего в одном из заграничных торгпредств. Товарищ Н-ский был одним из немногих известных мне коммунистов, которого я уважала. Прошедший мировую войну и награжденный всеми четырьмя Георгиями, он, будучи до революции левым эс-эром, сразу примкнул к большевикам и провел гражданскую войну на фронте. Принадлежность его к врагам царского режима не помешала ему, однако, в одну из страшных киевских ночей выпустить на свободу запертых в сарае и осужденных на расстрел белых офицеров. В частной жизни — это был довольно умный, хотя и не очень образованный, спокойный и разумный человек, относившийся с уважением к чужому мнению. Мне пришлось работать с ним в бытность мою в Одессе, он оценил во мне трудолюбие и честное отношение к работе, и когда я написала ему за границу, прося его помочь мне, — безоговорочно прислал отличную рекомендацию. С своей точки зрения он поступал лояльно, так как, по его мнению, мои знания языков и стенографии могли принести Советскому Союзу гораздо больше пользы на заграничной работе, чем в канцеляриях Дворца Труда.

Тяжело больной (у него был рак печени), он скончался в год моего окончательного выезда за границу, так что большевики ему за эту

рекомендацию теперь отомстить уже не могут.

И вот, в одно прекрасное ноябрьское утро 1927 года меня вызвали в Наркомвнешторг и подвергли экзамену как по языкам, так и по стенографии. Затем провели меня в Отдел Кадров и там предупредили, что имеется свободная вакансия стенографистки в Кельн, в тамошнее маленькое и даже неофициальное представительство Экспортного Директората.

В Кельн, так в Кельн. Мне было, в конце концов, все равно, куда ехать, лишь бы вырваться, хоть на время, из Совдепии, лишь бы дать моему сыну возможность хоть немного поучиться в европейской школе, лишь бы иметь хоть какую-нибудь надежду на то, что можно будет остаться за границей навсегда.

— Мы даем вам 120 долларов жалованья в месяц, — заявил мне Вейцман, заведывавший приемом новых служащих. — Это нормальная ставка для стенографистки со знанием языков.

Я была настолько наивна, что не знала — чему приблизительно на немецкие деньги равняются эти доллары или, вернее, что на них можно купить в Германии.

— А мне хватит этих денег? Я ведь с сыном еду.

— Что за вопрос? Конечно, хватит. А теперь оставьте у нас ваш паспорт и заполните эти четыре анкеты. Да, и еще одно: непременно достаньте еще две рекомендации старых членов партии, пусть напишут, что они считают вас подходящей для заграничной работы. Без этого мы за границу вас не пустим.

— Но, товарищ заведующий, ведь я и теперь работаю в Международном Комитете Горнорабочих, мы постоянно работаем с заграницей.

— Это нас не касается. А рекомендации все же принесите.

\*  
\* \* \*

Новое дело! Кто же может дать мне такую рекомендацию? Ведь это не так просто. „Ручных“ коммунистов у нас было не так много: один-два и обчелся. Да и те были в тот момент в опале, так как их заподозрили в оппозиции Сталину. Я сунулась к одному-другому из знакомых — нет ли у кого-нибудь такого коммуниста. Ничего не наклеивалось. Своему шефу, Слуцкому, о моем намерении уехать за границу я заранее сказать ни в коем случае не могла. Я знала слишком много секретов о международной работе Коминтерна и Профинтерна, чтобы он выпустил меня так, за здорово живешь, из СССР. Кроме того, я была для него действительно незаменимой работницей, так как знала пять языков, машинку, стенографию, а кроме того, умела писать сводки, бюллетени и письма без того, чтобы мне кто-нибудь диктовал. Уж на это-то моего литературного таланта хватало.

Значит, нужно было действовать крайне осторожно и тайно. Это усугубляло трудность задачи. Дни проходили за днями. Вакансия в Кельне могла быть замещена кем-нибудь другим. Я нервничала. Как вдруг судьба ко мне смилостивилась. Как-то к нам в Комитет зашел приехавший из Харькова член Украинского

Центрального Комитета Профсоюза Горняков, старый большевик Кудрявцев. Слуцкого как раз не было. Я сидела и читала, как сейчас помню — „Pittsburg Press“, из которой надо было выудить сведения о стачке углекопов в Питтсбургском районе. Кудрявцев стал заговаривать со мной, шутил, приглашал меня пойти с ним вечером в Большой театр на балет. Я отшучивалась. Потом, точно блеснуло что-то в мозгу.

— Товарищ Кудрявцев, у меня к вам небольшая просьба. Не откажете ее исполнить, а?

— А что такое?

Вы ведь не из трусливых? Говорили, что вы в ленских событиях принимали участие?

Товарищ Кудрявцев расправил свои хохлацкие усы.

— Да, уж в трусости меня упрекнуть никто не может. А в чем дело?

— Да, видите ли, наклеывается мне место в германском торгпредстве, уже и экзамен выдержала. Теперь же надо еще одну рекомендацию, а все кругом такие трусы — боятся взять на себя ответственность. Будьте добреньким, подпишете вот здесь...

У меня уже был заранее заготовлен текст рекомендации.

— Товарищ Солоневич, да ведь вы здесь на такой серьезной работе — если бы вам не доверяли, разве вас держали бы? А почему Слуцкий не может дать?

— Я Слуцкому и не говорила ничего, ведь вы знаете, какой он. Заартачится, отпустить меня не захочет.

— Ну, ладно, давайте подпишу. А вы, когда в отпуск приедете, привезите мне из заграницы золотые часы на браслетке. Там, говорят, дешево. Идет?

— Ну, конечно, идет, товарищ Кудрявцев. Как билось мое сердце, пока Кудрявцев медленно выводил свою подпись! Ставилась на карту, быть может, вся моя жизнь!

— Вот, товарищ Солоневич, только смотрите же не подведите.

Должна сказать, что я Кудрявцева действительно не подвела. Когда, через три года, меня откомандировали обратно в СССР, я вернулась в Москву, а не стала невозвращенкой. Но, честно признаюсь, что о Кудрявцеве я тогда думала меньше всего,

Достать вторую рекомендацию было уже гораздо легче. Коммунисты больше всего боятся личной ответственности. Но раз уже один взял ее на себя, другой действует как бы механически.

## ПОСЛЕДНИЕ КОЛЕБАНИЯ

Через неделю я оказалась обладательницей столь драгоценного в СССР заграничного паспорта. С виду он был очень неказист: не обычная изящная книжечка небольшого формата, как английский или германский,—а длинная красная тетрадка, с бесвкусно напечатанным серпов и молотом, а внутри, вместо кни-

жечки — большой белый лист, складывающийся вчетверо и еще вчетверо. Понятно, что лист этот через некоторое весьма короткое время рвался и обтирался на краях сгибов, ту или иную визу ставили на нем где попало, так что таможенные чиновники, при последующих моих поездках в Россию в отпуск, долго и недовольно его рассматривали прежде, чем найти ту, которая им была нужна.

Но для меня такой паспорт был чем-то столь необыкновенным и дорогим, что я берегла его, как зеницу ока, и, сидя на службе, по нескольку раз открывала ящик стола, бережно его вынимала и любовалась им.

Теперь настал момент, когда надо было обо всем сказать товарищу Слуцкому\*). Эффект был именно таков, каким и я его себе представляла. Слуцкий выпучил на меня по своему обыкновению глаза, стал бегать в волнении и ярости по комнате и, наконец, подбежал к телефону:

— Сейчас же позвоню в Наркомвнешторг и буду протестовать против вашего отъезда.

— Товарищ Слуцкий, Наркомвнешторг считает, что с моим знанием языков я буду полезнее за границей, чем в Москве.

---

\*) Слуцкий был моим шефом в Международном Комитете Горнорабочих и сопровождал английскую делегацию в ее поездке в 1926 г. по СССР. О нем более или менее подробно рассказано в моей предыдущей книге „Записки советской переводчицы“.

— Плевать мне на то, что он считает. Я вас не пушу — вот и все. Кто подписал вам рекомендации?

— Кудрявцев и Миронов.

Лицо Слуцкого на минуту омрачилось.

— Я и с ними поговорю.

— Товарищ Кудрявцев уехал вчера в Донбасс.

— Не беспокойтесь, у нас существует на всякий пожарный случай телефонное международное сообщение.

Но в тоне Слуцкого уже сквозила некоторая неуверенность. Я сидела, как на иголках. Наконец, решила схитрить.

— Товарищ Слуцкий, неужели вы думаете, что мне особенно хочется ехать за границу? Я буду рада остаться в Москве.

— Ну вот, тем более. И не думайте, что вам там будет лучше, чем здесь. На какой оклад вы едете?

— Сто двадцать долларов.

— Вот видите. На сто двадцать долларов вы будете влачить с сыном жалкое существование. Ведь сами дома варить не будете, а придется обедать по ресторанам. Самый дешевый обед стоит в Берлине две марки пятьдесят. На двух человек — пять марок. И затем, раз вы едете с сыном, вам придется взять не одну комнату, а две — вы заплатите минимум двести марок. И школа будет дорого стоить. Вам совсем не к чему ехать.

— Хорошо, товарищ Слуцкий, я еще подумаю. Но очень вас прошу пока ничего не предпринимать.



— Ладно, но только я возмущен, как это вас назначили, даже не спросив меня — вашего начальника. А может быть, я против этого?

В это время в комнату кто-то вошел, и наш разговор прервался.

Чтобы усыпить бдительность Слуцкого, я старалась ничего больше не говорить о своем отъезде, более того — я стала его откладывать, надеясь, что постепенно Слуцкого удастся уломать. Одновременно я постаралась повидать тех служащих Дворца Труда, которые уже бывали на заграничной работе. В подавляющем большинстве это были коммунисты, которые всячески старались меня от поездки отговорить. Рисовали мне безотрадную картину полуголодного существования, говорили о том, что им самим, якобы, очень за границей не понравилось, что они рвались вернуться в СССР и т. д. и т. д. Какой ложью оказались впоследствии все эти рассказы!

Беспартийные же мои знакомые всячески убеждали меня ехать, завидовали мне, забежали ко мне в Комитет и просили показать мой заграничный паспорт. Смотрели на него с вожделением и вздыхали:

— Эх, кабы мне такой! Уж я бы одного часа здесь не остался.

А сослуживицы — такие же, как и я, беспартийные стенографистки, машинистки и переводчицы — просили меня:

Когда приедете в отпуск, привезите мне беленькие носочки.

— А мне — красный беретик.

— А мне — губную помадку Коти.

Как бы то ни было, колебания не переставали меня мучить. В тот год стояла особенно суровая зима. Короткие северные дни, длинные темные ночи, ежедневные поездки в нетопленных битком набитых вагонах из Салтыковки в Москву и обратно, ухищрения для того, чтобы достать что-нибудь поесть — все это надламывало организм, иссушало желания, снижало энергию. Становилось как-то страшно ехать куда-то в чужую, неизвестную страну одной, без всякой опоры, с маленьким сыном. А тут еще бесконечные угрозы Слуцкого и уговоры других коммунистов. Словом, отъезд мой затянулся на три месяца.

Наконец, в двадцатых числах января меня срочно вызвали в Наркомвнешторг. А там — к самому начальнику Отдела Кадров. Он посмотрел на меня довольно сурово и сказал:

— Или вы едете в Германию, или вы не едете. Но чтобы вы завтра же дали мне окончательный ответ и, если не едете, вернули паспорт. Визы-то ведь все просрочены, надо ставить новые. А Кельн сидит без стенографистки и бомбардирует нас письмами. Почему вы так тянете?

— Сто двадцать долларов уж очень малое жалованье. Все говорят, что на это в Германии трудно прожить.

Начальник почти с состраданием на меня взглянул: вот, мол, какая дурочка нашлась.

— Ну что-ж, вы знаете четыре иностранных языка, когда приедете в Берлин, заявите там, чтобы вам прибавили еще десять

долларов. Скажете, что я на это согласен.

— А почему вы отсюда не можете дать мне сразу такую ставку?

— На это есть свои причины.

Позже я поняла, что это были за причины. Дело в том, что каждому командирующему за границу полагаются под'емные в размере месячного оклада. И вот, даже эти десять долларов для советского кармана составляли расход, с которым все-таки надо было считаться.

Я вернулась домой, мы устроили последний семейный совет, и на следующий день я дала начальнику Отдела Кадров утvedительный ответ.

В Советской России большей частью власть делает все наперекор желанию граждан. Покажи я излишнюю торопливость и страстное желание поскорее выехать за границу, меня, может быть, в последний момент оставили бы в Москве. Но поскольку я не выказала особенно яркого желания уехать, ко мне прониклись как бы некоторым уважением и даже в принципе прибавили жалованье.

\*  
\* \*

Судьба смилостивилась ко мне и в том смысле, что Слуцкий в середине января уехал в Донбасс по делам, так что я смогла уехать из Москвы в его отсутствие—даже прощальной рекомендации некому было мне написать, что, впрочем, меня не особенно удручало.

## МЫ — В БЕРЛИНЕ

После долгих сборов наступил момент расставания. Было очень тяжело на сердце, но одновременно подбодряло сознание, что для моего сына поездка в Германию будет чрезвычайно полезна. 26-го января 1928 года, вечером мой муж и наши друзья проводили нас с Юрой на вокзал, а 28-го утром мы вышли с ним с центрального берлинского вокзала на Фридрихштрассе. Носильщик нес мой захудалый чемодан, в котором, кроме полотенца и мыла, ничего не было. Ибо что мог тогда вывезти из СССР за границу несчастный советский гражданин?

Прежде всего нам нужна была комната хотя бы на два-три дня. В виду того, что меня командировали в Кельн, я полагала, что в Берлине мне долго быть не придется. Поэтому мы решили остановиться в гостинице. Но не тут то было: мы прошли весь квартал по Доротеенштрассе, влево от Фридрихштрассе, и результаты оказались самыми плачевными. Неукоснительно повторялась одна и та же процедура — носильщик заходил в отель, махал нам из-за стеклянной двери рукой; мы входили, а через секунду портье вежливо, но твердо заявлял, что комнат нет. И при этом как-то странно на нас поглядывал. Особенно на Юрчика.

Наконец, я уразумела, в чем дело. Всею виной был наш необычайный вид. На мне было мое старенькое, дважды перелицованное пальто, еще одесских времен, совершенно не мод-

ное и провинциального вида, а на Юрочке — черный длинный бесформенный колушок из одеяла. Но, что самое главное, на нем была меховая шапка с наушничками, так что с первого взгляда он очень походил на эскимоса. Вот эта-то шапка, повидимому, и отпугивала фешенебельных портье. Наконец, попалась какая-то второсортная гостиница, где над нами сжалились и предоставили на четвертом этаже небольшую комнату, правда, с двумя кроватями, за 9 марок в сутки. Эта цифра меня испугала. Неужели моих ста двадцати долларов действительно не хватит?

Наскоро умывшись и оставив Юрочку на попечение хозяйки, я, расспросив предварительно, как мне проехать на Линденштрассе, поспешила в торгпредство. Там я надеялась в тот же день получить хоть немного денег из моих под'емных, чтобы купить себе и сыну самую необходимую одежду и обувь. В таком виде, в каком мы приехали, нас не пустили бы, вероятно, ни в один более или менее приличный ресторан.

## ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

— Sie wünschen?\*)

— Мне надо в Отдел Кадров, я только что приехала из Москвы.

---

\*) Что вам угодно?

— Ihern Pass, bitte.\*)

Портье нажимает под столом ногой кнопку, совсем незаметно для непосвященного глаза, и показывает рукой на дверь.

Здесь, в советском торгпредстве, все конспиративно. Это не то, что в любом германском учреждении, — вы входите, о вас докладывают, может быть, запрашивают даже по телефону того, к кому вы хотите войти, но двери, ведущие в остальное помещение не закрыты. Здесь обе двери по сторонам обширной приемной заперты. Пришедший с улицы человек никаким способом не проникнет внутрь, не сможет пройти дальше этой приемной. Двери заперты потайным замком, и провода ведут к столам портье. А сами портье как в карманах брюк, так и в ящиках, стоящих перед ними письменных столов, имеют оружие.

Портье, как и весь остальной немецкий персонал торгпредства, включая уборщиц, слесарей, столяров, истопников и проч. — исключительно члены германской коммунистической партии. И не рядовые, а активисты. Но об этом я узнала лишь значительно позже.

\*  
\* \* \*

Двери бесшумно раскрылись, я попадаю в переднюю, где движется так называемый патер-ностер, т. е. открытый лифт, с непрерывной цепью открытых кабинок, входить и выходить из которого нужно на ходу. Я вижу такой

---

\*) Пожалуйста, паспорт.

лифт впервые и не решаюсь им воспользоваться. Боюсь, что не смогу во время войти и выйти. Поднимаюсь по лестнице. Второй этаж. Длинный, темный корридор идет в обе стороны, в него выходят двери с номерами. По корридорам снуют какие-то люди. Спрашиваю двух-трех, как попасть в Отдел Кадров.

— А вот там, направо корридорчик, так в конце его будет дверь, а за нею другая. Там и есть Отдел Кадров.

Комната 155. Стучу. Ответа нет. Вхожу. Небольшая комната чисто концелярского типа. Посредине — два стола. За одним — еврейка Иоффе, за другим — еврей... Сергеев. Да, да, именно Сергеев. В Москве как-то у меня был такой случай, что я должна была повидать одного из членов ВЦСПС. Мне сказали:

— Спросите Ивана Ивановича Иванова.

Оказался самый обыкновенный еврей. Это не анекдот. Одно только непонятно: зачем евреям теперь, при советском режиме, менять фамилии и подделываться под русских? Ведь в принципе в СССР все нации равны.

На столах у обоих шефов—груды бумаг и по два телефона. У окна стоит неизменный сейф. Я стою у двери и жду. Но на меня никто не обращает внимания. Как-будто бы меня нет. В Советской России это вообще бывает сплошь да рядом — полное отсутствие внимания к посетителю. Ибо предполагается, что если в комнату вошла важная шишка—коммунист или даже влиятельный активист — то он ждать не станет, а сразу же подойдет к столу, швырнет на него кепку, а затем либо стукнет

кулаком по столу, либо развалится без приглашения, на первом попавшемся стуле. Безо всякого стеснения. Ну, а раз стоит себе смирененько в почтительном отдалении и молчит — значит, беспартийная сволочь. Значит, стесняться нечего.

Я отлично все это знаю, и сознаю, что мне давно надо было переделать себя, отрешиться от излишней в советских условиях деликатности и тактичности, но... „проклятое“ институтское воспитание мешает.

Так и теперь — стою и жду. Потом решаюсь кашлянуть. Потом набираюсь смелости и говорю:

— Простите, товарищ...

Но тут, видно, сидят махровые бюрократы. Их так просто не прошибешь. Надменность и наплевательское отношение к подчиненным придают им вес в их собственных глазах, ибо других заслуг у них нет.

На мою удачу в этот момент в комнату врывается некто в сером, высокий, энергичный и напористый. Подлетает к Иоффе и с места в карьер начинает орать:

— Это разве торгпредсто! Это сумасшедший дом какой-то! Два месяца я здесь, а меня уже третий раз перебрасывают из комнаты в комнату, да, мало того, еще и из этажа в этаж. И, главное, никто не знает, по чьему распоряжению! Теперь ты, Иоффе, признавайся, это ты приказала меня на мѣсто Электроимпорта перебросить? Так я тебе заявляю, что этому не бывать! Что важнее, по твоему, умная ты голова, Хлебоэкспорт или Электроим-



порт? Кто дает валюту государству — мы или они? А ты наш отдел загоняешь куда-то на четвертый этаж, к чертям на кулички, а электриков, видите ли, — на самый низ. Надо ведь соображение иметь! Я в Москву буду жаловаться. Это чорт знает что такое! Клиенты теперь опять по всему торгпредству бегают — меня ищут, а я — ишь, на небеса забрался!

Куда девались небрежная поза и бюрократическое молчание Иоффе. Точно злая, хищная птица, худая и общипанная, она нахохлилась на своем кресле и вот-вот вцепится когтями в крикуна.

— Ты мне тут не кричи. Тут Отдел Кадров, а не базар. И никакого распоряжения я не давала.

— Как не давала, а кто же давал? Ты — Сергеев?

Но Сергеева уже и след простыл. Я даже не заметила, как он успел скрыться в боковой двери, за его креслом. Да и мудро не искушенному глазу заметить: дверь вроде как бы потайная — в стене замурована и выкрашена под цвет остальной комнаты.

Теперь Иоффе обращает, наконец, свое внимание и на меня. Она, конечно, уже давно знает, что я здесь, но тут ей, видимо, неприятно, что ее престиж так дискредитируется перед какой-то посторонней личностью.

— Вам что, товарищ? — демонстративно обращается она ко мне и тем самым временно отстраняет бушующего хлебоэкспортника.

— Я сегодня приехала из Москвы. Назна-

чена стенотиписткой, со знанием языков. Моя фамилия Солоневич.

— А, Солоневич? Где же вы так долго застряли? Бумага о вашем назначении у нас уже давно лежит, в Кельне работать некому. Покажите ваш паспорт и препроводительные бумаги. Так, все в порядке. На какую ставку вы приехали?

— На сто двадцать долларов, но заведующий Отделом Кадров в Москве сказал, что в виду того, что я знаю четыре языка, вы мне дадите сто тридцать. Я ведь не одна, а с сыном.

— Ну, это мы еще посмотрим. Если будете хорошо работать — прибавим.

— Но ведь в Москве мне сказали, что это навверное.

— Мало что в Москве сказали. Ну, да ладно, я поговорю с товарищем Сергеевым. А теперь собирайтесь, чтобы сегодня же вечером выехать в Кельн.

— Я хотела просить разрешения остаться хотя бы на один день в Берлине, чтобы одеться. Вы сами видите, в каком неподходящем я виде.

— Нет, ни минуты ждать нельзя. Вы и так запоздали. Идите в кассу, я сейчас распоряджусь, чтобы вам выписали ордер, поезжайте к Вертгейму или Тицу, купите, что надо, и с вечерним поездом выезжайте.

— Но я ничего в Берлине не знаю — ни улиц, ни магазинов.

— Попросите кого-нибудь из товарищей. Вам помогут.

И Иоффе протягивает мне мои бумаги и записку в кассу.

Аудиенция кончена.

Уходя, я слышу возобновившиеся вопли заведующего Хлебоэкспортом и резкий голос Иоффе.

### СТЕПАН НИКИТИЧ НИКИТИН

Касса находится в третьем этаже. Это малюсенькая комнатка, перегородженная прилавком и решеткой. За прилавком, по бокам—два сейфа. У окошечка—пожилой, лысый человек в пенсне. Он принимает меня очень любезно. Иоффе уже, оказывается, позвонила в финансовый отдел, что я иду, и он только ждет ордера. Пока что — мы разговариваем; он спрашивает меня о Москве и, узнав, что я должна немедленно ехать в Кельн, очень об этом жалеет. По неуловимым, понятным только подсоветским людям, признакам — я заключаю, что он беспартийный. Задаю ряд вопросов практического характера: как устроить сына в немецкую школу, где лучше купить пальто и платье. С этого дня начинается наше знакомство, которое, к сожалению, закончилось для него очень трагически. Ибо этот кассир—никто иной, как Степан Никитич Никитин, описанный в „России в концлагере“, как „Степушка“, и томящийся, повидимому, и поныне в

одном из концентрационных лагерей СССР. Он пытался бежать из СССР вместе с моими родными через финскую границу, был захвачен ГПУ в вагоне на перегоне Ленинград — Петрозаводск, перепугался до смерти, наговорил на себя всяких несусветимых небылиц и теперь несет наказание за „шпионаж“ и „контрреволюцию“.

Никитин проработал в торгпредской кассе бессленно в течение десяти лѣт. Попал за границу совершенно случайно, еще в первые годы германо-советской дружбы. Работал не за страх, а за совесть, иногда по десять-одиннадцать часов в сутки. Постарел на этой службе и был безукоризненно честным служакой. Полу-эстонец, полу-русский, он был несказанно огорчен откомандированием в 1930 г. в Москву, но не решился стать невозвращенцем, несмотря на то, что похоронил в Берлине на Тегельском кладбище свою жену, а также несмотря на то, что в Эстонии у него осталась целая плеяда братьев—и довольно состоятельных, которые звали его поселиться у них. Я хорошо помню, как я весной 1930 года вернулась в Берлин из отпуска, как обычно, проведенного мною у мужа в Салтыковке. Никитин встретил меня на вокзале и спросил:

— Ну, как, Тамара Владимировна, там, в Москве? Меня откомандировали, скоро надо ехать.

Я сказала, не колебаясь ни одной минуты:

— Ради Бога, Степан Никитич, не езжайте. Голод, террор, ужас. Будете страшно жалеть. Ведь у вас братья в Эстонии—станьте

невозвращенцем и езжайте в Эстонию. У вас есть маленькие сбережения — на вас одного хватит.

Но Степан Никитич был слишком честен, чтобы послушаться начальства. И решил вернуться в СССР, а затем легальным путем уехать снова за границу, и тогда уже навсегда. Приехав в Москву, он поступил бухгалтером в какое-то учреждение и стал ходатайствовать о выезде. Ему три раза подряд отказали. Тосковал он страшно, так как жил совершенным бобылем где-то в одном из пригородов. Кроме того, по природе аккуратный и смирный — он привык за десять лет пребывания в Германии к чистоте, порядку, законности. Его чрезмерная деловая загруженность в кассе держала его как-то вдалеке от торгпредской сутолоки — общественной нагрузки на него не возлагали — так что, по его возвращении в СССР, советская действительность ударила его, как обухом по голове. И нужны были действительно невыносимые советские условия, чтобы заставить этого мирного человека решиться бежать через границу. В 1934 г. он, наконец, решился бежать. Кончилось это ужасно. Как я теперь узнала от своих родных, на допросе Никитина следователь угрожал ему револьвером, кричал на него и заставил его подписать заведомо ложные показания о том, что он, якобы, со мной вместе шпионил в торгпредстве против советской власти. Никитин совсем потерял голову и наговорил такого, что получилось действительно нечто вроде детективного

романа. Словом, его закатали на восемь лет в концентрационный лагерь.

Мне очень жаль Степана Никитича. Он и его жена приняли меня и Юру, как родных, приглашали к себе, помогали искать квартиру и — что самое главное — первые недели и месяцы жизни на чужбине оказали нам сердечное и искреннее гостеприимство. Выдержит ли старичек, с его ослабленным недоеданием организмом и с его боязнью сделать хоть маленькую незаконность, восемь лет каторжной жизни в советском концлагере — Бог знает.

## НЕОЖИДАННОСТЬ

Пока мы разговаривали со Степаном Никитичем, за его спиной в стене открылось маленькое окошечко и чья-то рука просунула ордер. Он стал отсчитывать мне деньги, как вдруг у него на столе зазвенел телефон.

— Алло, да, Никитин. Что? Да, да, она еще здесь. Сейчас придет.

Никитин положил трубку.

— Товарищ Солоневич, вас Иоффе к себе зовет, и поскорее.

— Да ведь я только что у нее была.

— Это ничего не значит, идите скорее, она вас ждет.

Что случилось? Прощаюсь и бегу к Иоффе. Застаю ее за телефонным разговором. Не

называя фамилии, она кому-то доказывает, что кого-то оставить здесь, в Берлине, нельзя, так как на него имеется требование. Однако, интонации ее делаются все мягче, и, наконец, я слышу:

— Хорошо, я распорядюсь. Она уже здесь.

Нетрудно дагадаться, что речь идет обо мне. Положив трубку, Иоффе обращается ко мне тем же, вероятно, оставшимся по инерции, мягким тоном:

— Товарищ Солоневич, импортный директорат требует, чтобы вы остались работать здесь, в Берлине. Вы знаете языки и будете здесь гораздо нужнее. В Кельн же поедет другая, знающая только немецкий. И мы даем вам сто тридцать долларов, как вы просили.

Должно быть мое лицо имеет довольно глуповатый вид, потому что Иоффе считает долгом меня успокоить:

— Вам здесь лучше будет. А теперь идите устраиваться с комнатой и прочим. И, — при этом она окидывает меня полу-презрительным взглядом, — вам действительно надо одеться. Послезавтра приходите на работу к десяти часам.

\*  
\* \*

Так волею импортного директората—а как я потом узнала, воля эта управлялась личной склокой между одним из директоров и заведующим кельнским отделом — я осталась в Берлине.

Что сказать о наших первых впечатлениях от Берлина! Огромный, четырехмиллион-

ный город, с прекрасными чистыми улицами, площадями и парками, великолепными витринами и разноцветной, феерической ночной рекламой — был так непохож на грязную, обшарпанную, серую советскую Москву, что в первые дни мы ходили, как обалделые. Было странно, что можно все купить без очереди, а масса красивых предметов, которых Юра еще никогда в жизни не видал и которые я забыла — когда видала, заставляли нас останавливаться и простаивать подолгу перед витринами. Юрочку особенно притягивали выставки велосипедных и оружейных магазинов. Эта любовь сохранилась у него, впрочем, во все время его пребывания в Германии. Для него не было большего удовольствия, как забраться в окрестности Александер-Платц в огромный магазин Махнов. Это — универсальный магазин по части велосипедов и всяких запасных частей и инструментов. Там Юра мог проводить целые дни.

Я лично — каюсь — пропадала в универсальных магазинах Тица, Вертгейма и Карштадта. Прежде всего надо было придать себе и Юре мало-мальски европейский вид. Удалось ли мне это вполне — сильно сомневаюсь, так как, пересматривая теперь иногда наши фотографии того времени, я вижу перед собой довольно бескусно одетую даму и утрированно-спортивного вида мальчугана в огромной для его роста клетчатой кепке. Но тогда мы казались себе верхом элегантности. Да оно было и понятно — после десяти лет нищеты, рваного белья, перелицованных платьев, пальто из одеял и бумажных чулок (о, шел-



ковые чулки — какой это предмет вождедений всех советских женщин!) — было на что глазам разбежаться.

Собственно говоря, в те первые месяцы жизни „на воле“ я не совсем отдавала себе отчет в реальной стоимости германской валюты. Говорю „германской“ потому, что, несмотря на то, что номинально торгпредские служащие получают зарплату в долларах, фактически она выдается им в валюте той страны, где они работают. На германские деньги я получала 540 марок, что по номиналу равнялось 270 советским рублям, в действительности же я на эти 540 марок могла купить неизмеримо больше. Когда выяснилось, какую массу всего я могу купить на эти деньги в Германия, я помянула недобрым словом Слуцкого, который лгал мне, утверждая, что на 120 долларов в Берлине я буду голодать.

Вот для сравнения приблизительная стоимость килограмма продуктов или штуки предмета в Москве и в Берлине (см. на 40 стр.):

Итак, значит, советская власть платит своим служащим, проживающим за границей, в среднем в 20-25 раз больше, чем проживающим внутри СССР. Чем это объяснить? Единственно — желанием еще и еще раз обмануть иностранцев, которые должны видеть, как хорошо оплачивают большевики своих служащих. Это своего рода реклама, и обходится она русскому народу в очень круглую сумму. Между прочим, этим чрезвычайно привилегированным положением заграничных служащих объясняется также поразивший меня в бытность

мою в торгпредстве факт, что почти 70 проц. всех служащих — евреи. Как известно, евреи всегда стараются занять наиболее выгодные места. Их, например, почти нет на должности сельского учителя или почтово-телеграфного чиновника, но зато полпредства и торгпредства ими буквально оккупированы.

Возвращаясь к вопросу о заработной плате. Интересно отметить разницу, существующую между так называемыми „командированными“ из Москвы и „местными“ служащими. В то время, как командированная стенотипистка получает около 500 марок в месяц, такая же, если не более, квалифицированная „местная“ стенографистка — будь то немка или русская — получает только 300 марок. Конечно, при

| Продукты      | В Москве<br>в рублях | То же в пере-<br>воде на марки | В Берлине<br>в марках | Во сколько раз боль-<br>ше можно купить за<br>те же деньги дан-<br>ного продукта в<br>Берлине, чем в<br>Москве |
|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Сахар . . .   | 25                   | 50                             | 0.65                  | 75   |
| Мясо . . .    | 15                   | 30                             | 2.—                   | 15   |
| Курица . . .  | 30                   | 60                             | 2.50                  | 24   |
| Масло . . .   | 30                   | 60                             | 4.—                   | 15   |
| Хлеб бел. . . | 4                    | 8                              | 0.50                  | 16   |
| Мыло туал. .  | 3                    | 6                              | 0.25                  | 24   |
| Пара туфель   | 200                  | 400                            | 12.—                  | 35   |
| Пара галош    | 50                   | 180                            | 8.—                   | 23   |
| Пара чулок .  | 50                   | 100                            | 2.—                   | 50   |
| Светер . . .  | 150                  | 300                            | 20.—                  | 15   |

германских ставках 300 марок — тоже довольно высокая ставка, так как та же немецкая stenotypistka, служа в германской фирме, получает всего 150 марок. Но, повторяю, „местный“ персонал торгпредств набирается исключительно из коммунистов, да еще не рядовых, а активных. Поэтому советская власть заинтересована в том, чтобы они были довольны своим положением. Более того, она просто компенсирует их этой службой за их заслуги в деле „борьбы против существующего строя“ и платит им сознательно вдвое больше, чем они получали бы у „прогнивших капиталистов“.

По своей работе мне пришлось много сталкиваться с этими немецкими коммунистами, и я могу сказать, что большинство из них истинного положения дел в СССР не знает. Как и в СССР, они делятся на нечестных карьеристов и наивных простачков. Идеалистов среди них я почти не встречала, причем, чем выше стоит на иерархической лестнице тот или иной иностранный коммунист, тем более шансов на то, что он просто напросто негодяй, продающий свою страну за понюшку табаку. Редко-редко попадаются такие положительные типы, как, например, моя близкая сослуживица по торгпредству Эмми Эгер, но о ней потом. Она, кстати, теперь, вероятно, уже разочаровалась в коммунизме, так как после прихода Гитлера к власти сочла нужным выехать в Москву. Воображаю, как она теперь там себя чувствует!

Итак, об Эмилии Эгер в другом месте, а теперь вернусь к зарплате. Как я уже сказала,

я себе отдавала весьма слабый отчет в стоимости новых для меня германских денег. Все казалось мне страшно дешевым, все хотелось купить, ибо в психике еще сидели воспоминания о СССР, где ничего нельзя было достать, а если в каком-нибудь магазине и появлялся какой-нибудь товар, то низкого качества и в очень ограниченном количестве. Надо было стоять в очередях и хватать, что попало. А тут, в Берлине, всего было много, все было сравнительно дешево, качество было превосходное — ну как было не наброситься! И это удел всех советских служащих, попадающих за границу. Они буквально набрасываются на все, покупают массу ненужных вещей, а когда затем их откомандировывают обратно — оказывается, что самого-то нужного они так и не удосужились купить.

## ФРАУ БЕТЦ

Первым делом нужно было найти комнату, так как в гостинице становилось уж очень дорого, да и неудобно жить. И тут сказала все та же советская закваска. В Москве, да и во всех крупных городах СССР, комнату найти — это все равно, что выиграть миллион в лоттерее. А так как два первых дня в Берлине мы провели в районе Фридрихштрассе, т. е. берлинского Сити, где одно на другом нагромождены конторы, бюро, банки и торговые

учреждения, и где вывесок о сдаче комнат почти не видно, я — о, санкта симплиситас! — решила обратиться ни много, ни мало, как к секретарше советского консульства, куда Иоффе велела мне поскорее явиться, чтобы там зарегистрироваться.

Консульство помещалось тогда еще в здании полпредства на Унтер ден Линден. В виду того, что в консульство приходит много незнакомых людей—а большевики смерть как боятся налета со стороны национал-социалистов или фашистов,—теперь консульство выселено из здания полпредства и перенесено в помещение Garantie und Kredit Bank, негласного филиала Госбанка СССР. Я зарегистрировалась и спросила, не может ли товарищ секретарь посоветовать мне, где я могла бы найти комнату.

Товарищ секретарь сделала озабоченное лицо, подумала с минутку и сказала:

— Знаете что, спросите на Доротеенштрассе, дом номер такой-то, в пансионе фрау Бетц. Кажется, у нее есть комната. Она, кстати, говорит по-русски.

И хотя мне вовсе не улыбалось селиться у человека, говорящего по-русски, так как мне хотелось возможно скорее усовершенствоваться в немецком языке и научить ему Юру, я все-таки пошла к фрау Бетц.

„Дом номер такой-то“ по Доротеенштрассе — это пятиэтажный ящик, и на вершине этого ящика проживает вот уже, кажется, двадцатый год почтенная фрау Бетц. У нее—что-то около десяти комнат, она держит пан-

сион и, как оказалось впоследствии, имеет негласную договоренность с секретарями некоторых, расположенных по близости, иностранных посольств, в том числе и советского.

Фрау Бетц встретила нас с Юрой приветливо и первым делом спросила:

— Кто вас рекомендовал?

— Секретарша советского посольства.

— Ach, so! Нужно будет не забыть отправить ей коробку конфет. Сколько комнат вам нужно? Одну? У меня сейчас есть только одна свободная, очень большая, вот посмотрите сами.

И шурша своим необъятными юбками, — так как фрау Бетц, весившая этак пудиков под восемь, носила кренолиновой ширины платья, — она повела нас по корридору в огромную, мрачного вида комнату с окнами, выходящими на улицу.

— И какая ей цена? Я хотела бы также, чтобы вы давали сыну обед; сама я буду обедать на службе.

— Эта комната дорогая, но вам я, так и быть, уступлю ее с утренним завтраком и обедом для diesen jungen Mann за десять марок в день.

После девяти марок „без обеда“, которые я платила в отеле, мне это показалось недорогим, и я согласилась.

Через час наш скудный багаж был перенесен на Доротеенштрассе. Комната, повторяю, была очень мрачной, и вечерами в ней горела под самым потолком всего на всего одна лампочка, так как фрау Бетц была крайне эконо-

номной. Громадная двуспальная кровать была покрыта каким-то темно-лиловым покрывалом и походила на огромный саркофаг. Возвращаясь со службы домой, я заставала Юрочку одиноким и скучающим. Мне было его жаль, но я все еще не имела никого знакомых, которых решила бы затруднить поисками более подходящей квартиры. Угнетало ощущение совершенной беспомощности и одиночества в этом огромном городе, так что даже начинало хотеться назад, в Салтыковку.

Жильцы у фрау Бетц были самые разнообразные—от готтентотов до англичан включительно—и относилась она к ним довольно таки равнодушно. Своим внешним видом она сильно напоминала такую добродушную кариатиду, и когда по воскресеньям я имела возможность наблюдать ее за приготовлением обеда, мне даже бывало странно, что она могла так быстро и споро работать.

Любимым постоянным ее жильцом был молодой атташе английского посольства. Мне как-то вздумалось поговорить с ним по английски, но он, узнав, конечно, от фрау Бетц, что я — служащая советского учреждения, воротил от нас с Юрой нос и делал вид, что нас не замечает.

Несколько дней спустя после нашего водворения у фрау Бетц, с этим англичанином произошел довольно забавный случай. Как мне сообщила хозяйка за утренним кофе, вечером должен был состояться в залах Цоо традиционный бал-маскарад, входной билет на который стоил 25 марок.

— Мистер Х. тоже идет, — сообщила она мне с гордостью, — и я его наряжу так, что все будут смеяться до слез.

И, убедившись, что мы с ней остались одни в столовой, служившей ей одновременно и спальней, так как за ширмой стояла ее кровать, — она вынесла мне ночную рубашку и чепчик. Рубашка принадлежала, видимо, когда-то еще ее бабушке, так как воланчиками и бантиками напоминала времена Диккенса, а чепчик был поистине очарователен.

— Он будет бабушкой и на нос наденет большие очки.

Я представила себе сухопарого и жилистого атташэ в этом романтическом наряде и рассмеялась.

Наступил вечер, а за ним и ночь. Мы легли спать, я почитала немного и заснула. Вдруг меня разбудили какие-то пронзительные крики в соседней комнате (в ней помещался наш аташэ). Я вскочила с кровати, думая, что случилось что-нибудь ужасное. Оказалось, что после маскарада англичанин, будучи вдребезги пьяным, отправился из Цоо домой без пальто, в котором забыл ключ от нижней входной двери. Теперь он сидел на тротуаре в ночной бабушкиной рубашке и кисейном чепчике и орал непристойные английские пѣсни. А фрау Бетц, которая не могла от волнения и ожидания уснуть, прикурнула у него в комнате и была разбужена именно этим пением. Теперь она выражала ему свое сочувствие и, замотав ключ в платок, пыталась привлечь на себя внимание англичанина, чтобы затем бро-



сать ему ключ. Я вызвалась ей помочь, оделась, спустилась вниз, разбудила портъе, и он с трудом приволок атташэ домой.

На утро, однако, все было попрежнему. Англичанин выглядел чопорно и избегал моего взгляда, а фрау Бетц неодобрительно на него поглядывала. Не такого триумфального возвращения она ждала.

## ТЕКСТИЛЬИМПОРТ И ШВЕЙЦЕР

Итак, я стала стенотиписткой Текстильимпорта. Маленьким, незаметным винтиком в огромной машине советской внешней торговли. Меня никто не знал, и я никого не знала: приходила утром в здание торгпредства, поднималась во второй этаж и до вечера устревала в небольшой полутемной комнате — машинном бюро Текстильимпорта. Здесь, кроме меня, сидело еще шесть таких же, как я, стенографисток и машинисток, причем, половина из них были немки-коммунистки, ни слова не понимавшие по русски, а другая половина — такие же командированные из Москвы, как и я, беспартийные. Нас то и дело звали к себе инженеры, диктовали нам письма, давали переписывать фактуры, счета и заказы, и мы все, как механические куклы, трещали с утра до вечера на пишущих машинках.

Моим первым учителем на стезе торгпредской работы был один из заведующих под'от-

делами — Розенблум. Полный и жовиальный еврей, он выехал из России уже давно, еще до войны, был специалистом по текстильным машинам, прекрасно владел немецким языком и чрезвычайно быстро мне диктовал. Нужно откровенно сказать, что стенографию я изучила без преподавателя, по самоучителю, и знала ее не особенно важно. Я могла писать под медленную диктовку, и Розенблум на меня сильно сердился, когда я то и дело переспрашивала. Между тем, как и в каждом деле, в текстильном отделе были свои специальные термины, вроде „банкаброша“, которые в мои стенографические познания не входили. И я должна признаться, что к стенографии у меня блестящих способностей не наблюдалось. Словом, меня кидало в жар и в холод, когда, уже в машинном бюро, сидя за машинкой, я чувствовала, что не могу разобрать своей собственной записи. Вывозила разве только некоторая природная находчивость, да и то не всегда. Полагаю, что Розенблему я казалась очень бесполой особой.

На второй же день моего пребывания в Торгпредстве со мной произошел казус, который — повернись обстоятельства иначе — мог окончиться моим откомандированием в Москву. Произошло следующее:

День прошел, как всегда, в спешной и скучной работе, с „банкаброшами“, и „контингентами“. Моя соседка, белокурая, миловидная немочка, то и дело посматривала на часы — у нее сегодня была большая демонстрация —

и, наконец, спешно стала складывать бумаги и покрыла машинку чехлом.

— Schluss damit! — возвестила она.

В этот момент затрещал телефон, стоявший неподалеку от меня, на столе. Я взяла трубку.

— Текстильимпорт? — послышался сухой и резкий голос, в котором я сейчас же узнала голос Иоффе.

— Да, Текстильимпорт.

— Солоневич там? Позовите ее к телефону.

— Я слушаю.

— Ах, это вы и есть Солоневич! Слушайте, зайдите сейчас же сюда, вы мне очень нужны.

Зачем бы я могла ей понадобиться? Сложила наскоро бумаги и пошла в Отдел Кадров.

Иоффе и Сергеев сидели за своими столами и писали. Но теперь Иоффе сейчас же обратила на меня внимание:

— Вот что, товарищ, вам придется сегодня поработать сверхурочно. Дело в том, что из Москвы приехал начальник импортного директората, товарищ Швейцер. Сегодня вечером будет большое заседание, и надо будет застенографировать речь Швейцера и прения. Ведь в вашей характеристике стоит, что вы хорошо знаете стенографию, а к тому же вы новенькая, и надо вас испробовать. Поэтому берите блок-нот и карандаши и отправляйтесь в кабинет директората, комната 178.

— А это долго затянется, товарищ Иоффе? У меня ведь ребенок дома, я бы хотела

распорядиться с ужином и вообще сообщить, что я остаюсь работать, иначе он будет волноваться.

— Пустяки, позвоните по телефону. Какой номер?

— Я не знаю.

— Эх, вы — деревня! Нате телефонную книгу и найдите. Имейте в виду, — тут голос Иоффе стал мягче, — что вы сделаете мне личное одолжение, если останетесь сегодня. Вы знаете — русских стенографисток у нас в торгпредстве мало, все больше присылают только машинисток. А стенотипистка торгпреда больна.

Мне ничего не оставалось, как позвонить фрау Бетц и просить ее сообщить перепуганному Юрчику, что „мама вернется сегодня поздно, так как у нее спешная работа“. Мальчик мой был очень огорчен, и я слышала в трубку, как он жалобно спрашивал у фрау Бетц:

— А когда она вернется? Когда?

Он в это первое время в Берлине чувствовал себя одиноким и заброшенным и с нетерпением ждал того момента, когда я возвращалась домой. Детство его, вследствие революционного лихолетья, вообще сложилось не особенно радостно, так как и папа, и мама были постоянно на работе, и он большею частью был предоставлен самому себе. Тем тяжелее было для него уже совсем полное одиночество на чужбине. Я это понимала и чувствовала и все свободное время с ним не расставалась. Его желание быть со мной не прошло и с годами. Трогательно было видеть, как он в по-

следний год пребывания нашего в Берлине, уже будучи пятнадцатилетним юношей, всегда настаивал, чтобы я принимала участие в велосипедных экскурсиях с его товарищами. И мы катили бывало на велосипедах по прекрасным асфальтовым дорогам в окрестностях Берлина целой компанией — человек шесть немецких гимназистов и я. И странно — никто никого не стеснял.

\*  
\* \*

Позвонив фрау Бетц и выйдя в корридор, я почувствовала себя, как перед экзаменом. Я отлично знала, что речи Швейцера я, конечно, записать не смогу, т. е. вернее — записать-то еще кое-как запишу, но потом разобрать не сумею. А вдруг, как это бывает иногда на заседаниях, он остановится, когда войдет кто-либо из важных запоздавших завов и скажет:

— А вот стенографистка нам сейчас прочтет начало речи. Товарищ, прочтите!

Ведь тогда я сяду в лужу. Мало того, это будет настоящим скандалом, и меня, конечно же, отправят обратно в Москву. Ибо, если меня сюда командировали, то именно потому, что во мне было не совсем обыкновенное для Советской России сочетание знания стенографии и нескольких языков. И какое кому дело, что я только конторская стенографистка, а не парламентская. Коммунисты в этом не разбираются.

Словом, я брела по корридору, как на заклание. И злилась на самое себя: почему я та-

кая к стенографии неспособная. Ведь вот все эти немочки—полуинтеллигентные и подчас совсем необразованные—стенографируют же, как боги, быстро и четко; читают потом свою стенограмму, как по писанному, а я все спотыкаюсь.

У дверей директората меня встретила секретарша-латышка.

— Меня послала товарищ Иоффе стенографировать заседание.

— Это со Швейцером? Он ушел обедать, придется подождать. Заседание назначено на шесть часов.

— Скажите, товарищ, а что Швейцер очень быстро говорит?

— Как пулемет. Его в Москве стенографистки с трудом записывают.

Последний луч надежды погас.

— Товарищ, вы здесь посидите, а то мне надо на демонстрацию.

Опять эта демонстрация! Очевидно, сегодня какой-то торжественный день у берлинских коммунистов.

— А где это будет?

— На Бюллов-Платц, у дома Карла Либкнехта.

И секретарша ушла, оставив меня одну. Через некоторое время стали собираться какие-то люди, которых я, конечно, тогда совсем еще не знала. Они приходили по два, по три, оглядывались, болтали друг с другом, курили, выходили в корridor. У меня сердце билось все напряженнее и напряженнее. Вот сейчас решится — в который, правда, раз! — моя

судьба. Только что удалось попасть за границу, а тут на тебе, такая неудача. Ведь сорвусь, как пить дать.

Через полчаса в комнату вбежал один из служащих и крикнул:

— Товарищ Швейцер идет. Сейчас начнется заседание!

И в тот же момент в дверях показался полный, невысокий еврей, с наглым, самодовольным лицом и небрежными манерами. Он громко разговаривал со своими спутниками и, увидев меня — единственную женщину, спросил:

— Вы — стенографистка? Имейте в виду, что я требую, чтобы стенограммы моих докладов сейчас же расшифровывались и давались мне для исправления, так как потом ошибок не оберешься. А где секретарь?

Молнией блеснула в мозгу мысль...

— Товарищ Швейцер, она ушла на коммунистическую демонстрацию, сегодня весь Берлин туда спешит.

Швейцер посмотрел на меня, и в его глазах промелькнуло выражение злорадного удовольствия.

— Что вы говорите, демонстрация? И где?

— На Бюллов-Платц, у дома Карла Либкнехта, — повторила я буквально только что услышанное от секретарши.

— Вот досада! А у нас как раз заседание! Я осмелела.

— А не отложить ли его, товарищ Швейцер?

Швейцер нерешительно огляделся кругом. Но какому советскому служащему хочется сидеть на скучнейшем советском заседании, где переливается из пустого в порожнее и где мухи дохнут от тоски? Поэтому лица кругом выражали полную готовность перенести заседание на другой день.

— Это—идея! Давайте, товарищи, отложим заседание на завтра, впрочем, завтра мне надо ехать на три дня в Гамбург. Ну, когда вернусь, тогда и сделаю доклад. А теперь едем на Бюллов Платц. Надо посмотреть на наш германский пролетариат.

Все пришло в радостное движение, и через минуту я осталась одна. На сердце у меня отлегло. Слава Богу, пронесло. Ну, а через три дня я постараюсь как-нибудь отвертеться.

Так иногда судьба сжаливается над человеком.

## ИНЖЕНЕР ТАРАЧЕШНИКОВ

В Текстильимпорте мне приходилось время от времени стенографировать у инженера Тарачешникова. Это был беспартийный спец. Он хорошо знал свое дело, и у нас с ним быстро установились хорошие отношения. После нелепых распоряжений из Москвы или, как принято говорить в СССР, из центра, он изливал мне свою душу:

— Ведь форменный кабак, Тамара Влади



мировна. Вы понимаете, все делается не так, как надо. Посылают приемщиками людей совершенно несведущих, лишь бы был партийный билет в кармане. По-немецки ни бум-бум. Приезжает такой приемщик куда-нибудь в Саксонию или Эссен и только дискредитирует нас на немецких заводах. Сколько раз мне немецкие директора жаловались. Говорят — посылайте вы хоть немного понимающих людей. Я писал в центр, но ничего не предпринимают.

К Тарачешникову то и дело приходили немецкие инженеры и директора заводов, и он вел с ними переговоры. Нужно сказать, что я все-таки поражаюсь его смелости. Он иногда так резко отзывался о советской власти и о сопряженной с ней бестолковщине, что это становилось опасным.

Однако, пока ему все сходило с рук.

Года через два, когда я уже работала в информационном бюро (или, вернее — в бюро справок, которое большевики хотели непременно называть бюро информации, так как это более импозантно звучало), ко мне в комнату вошел Тарачешников. Ему надо было получить справку о том, какие именно вещи домашнего употребления и в каком количестве можно было брать с собой уезжающему в СССР.

— Вас разве откомандировывают?

— Нет, я сам хочу уехать. Надоело мне здесь, в Берлине. А из Наркомвнешторга пишут, что меня хотят командировать в Америку. Там сейчас мы много текстильных машин покупаем. Я и решил ехать. Сейчас от-

правляю свою жену, а через две недели и сам поеду.

Я дала ему необходимую справку, и больше мне не пришлось его видеть. Но через месяц из Москвы дошли слухи, что жена Тарачешникова была на границе совершенно свободно пропущена, а когда сам Тарачешников приехал на Негорелое, его тут же арестовали и, якобы, держат в ГПУ, на Лубянке.

Через полгода этот же слух подтвердился, причем, выяснилось, что Тарачешникова обвинили во взяточничестве и сослали на пять лет на Соловки. Вызов в Москву под предлогом отправки его в Америку был только трюком. Большевики боялись, что он не поедет, если его откомандируют, и поэтому употребили хитрость. Впрочем, такую же хитрость советчики практиковали и практикуют в весьма широких размерах, изменяя только форму, в зависимости от сообразительности и доверчивости намеченной ими жертвы. Тарачешников был действительно крупным специалистом в своей области и приносил советской власти только пользу, но его смелые суждения были, очевидно, большевикам очень не по вкусу. А что от его ареста пострадало дело, то это никого не интересовало.

## ГОРЬКАЯ ДОЛЯ СТЕНОТИПИСТКИ

Недели через две меня вдруг, совершенно неожиданно, перебросили в Электроимпорт,

в отдел силовых установок. Опять пришлось привыкать к новым специальным терминам. Как и в Текстильимпорте, меня поразило здесь подавляющее количество служащих евреев. Как заведующий нашим отделом, так и инженеры, а с ними и секретарша принадлежали почти сплошь к избранному племени. Вообще, должна сказать, что, как это ни трагично, внешняя торговля Советского Союза руководится и представляется за границей почти исключительно евреями. Я констатирую факт вовсе не с анти-семитской точки зрения. Но я думаю, что каждому русскому становится обидно, если он на самых представительских местах видит не своих русских — русых, белокурых или каштанововолосых, но славянского типа, благообразных людей, — а курчавых брюнетов с ярко выраженным семитическим профилем и ушами. И каждому приходит в голову один и тот же чрезвычайно простой и ясный вопрос: неужели из ста миллионов великороссов и белорусов советская власть не находит достаточно представительных и знающих языки людей, которые с гордостью и достоинством могли бы за границей вести переговоры с иностранцами и совершать с ними сделки от лица России, хотя бы и советской? А между тем, это так. Я утверждаю и знаю, что меня поддержат все русские, служившие и служащие в советских учреждениях за границей, что минимум 80 процентов работников торгпредств являются евреями.

Я пыталась много раз найти объяснение этому факту и думаю, что это является следствием извечного стремления евреев к наибо-

лее выгодным должностям и спайкой, которая в суматошливости и хаосе советского бедлама сказывается особенно сильно и помогает Якову Израилевичу вытаскивать своего двоюродного племянника Арона Евсеевича, а Розочке протезировать Ривочке.

Недавно мы получили письмо из Траансваля, в котором один из читателей жаловался на то, что тамошние англичане считают русских евреями и спрашивают, почему мы, русские, едим свинину. Как известно, в германских университетах до войны училось большое число подданных Российской Империи. Подавляющее большинство их были евреи. В виду того, что они называли себя русскими, немцы сперва их таковыми и считали. Однако, скоро они поняли, в чем дело, и даже был пущен в обращение термин „Sogenannte Russen“. История повторяется до поразительности. И если парижские хозяйки конца прошлого и начала нынешнего столетия считали, что тип русского — это курчавые черные волосы и нос с горбинкой, а характер — самоуверенный и нахальный, то коммерсанты всех стран, посещающие ныне советские торгпредства, разводят руками и спрашивают недоумевающе:

— Скажите, почему это у русских так много общего с евреями? Такой же нос, такая же лапчатая поступь, такой же самодовольный вид.

И они, повторяю, правы. В бытность мою в Бюро Информации я имела ежедневно перед собой, на моем письменном столе, под стеклянной пластинкой, печатный список всех отделов

торгпредства с фамилиями и телефонами заведующих отделами и инженеров. И изо дня в день мое русское самолюбие оскорблялось этими бесконечными Рубинчиками, Цукерманами, Гольдштейнами и Гурвичами, которыми пестрил список. Мне очень жаль, что я тогда не сняла для себя и для настоящих очерков копии. Это служило бы наилучшим доказательством моего беспристрастного свидетельства.

В работе торгпредств евреи почти всегда выдвигаются на первые места. Но это отчасти можно объяснить тем, что они все же понятливей и сметливей тех русских выдвиженцев, которых советская власть изредка насылает на торгпредство, как тучу саранчи, и которые, по моему глубокому убеждению, присылаются за границу только для того, чтобы лишней раз кому-то доказать:

— Вот вам ваши русские! Видите — какие дуботолки!

Русские же культурные силы соввласть за границу почти не посылает.

Образчиком такого типа выдвиженца, командированного за границу, является товарищ Морозов, который устроил мне скандал и чуть не донес на меня, как на саботажницу, просто-напросто в силу своей бесграмотности.

Это был приемщик-коммунист, малограмотный выдвиженец, которого торгпредство командировало на завод по приемке текстильных машин. В один из своих приездов в Берлин он зашел к нам в машинное бюро и решил продиктовать мне целый ряд приемочных актов. Сам он сидел рядом со мной и ревниво

следил за тем, что именно я пишу. Внезапно он вспыхнул:

— Как это вы, товарищ Солоневич, пишете! Ин стру-мент. Я же вам диктую: стру-мент.

— Товарищ Морозов, такого слова — „струмент“ в русском языке нет, есть слово „инструмент“.

— А я вам говорю, что есть. Пишите „струмент“.

— Нет, я не могу так написать, ведь потом меня, а не вас, обвинят в бесграмотности. Раз такого слова нет, как же я буду его писать?

Морозов разъярился, вскочил и вырвал из машинки уже почти до конца дописанный лист, на который было потрачено почти полдня кропотливой работы, так как там были цифры и графы, и так как он уже до того заставил меня три раза одно и то же переписать.

— Струмент — это вот, например, отвертка, долото, плоскогубцы. А инструмент — это на чем играют, вот, скажем, скрипка или гармонь, — поучал он меня. — А еще образованная, языки всякие там знаете. Эх, вы, учить вас приходится.

А когда, в свою очередь рассердившись, я наговорила ему нехороших вещей, он плюнул, хлопнул дверью и побежал жаловаться в Отдел Кадров. Хорошо еще, что Иоффе знала разницу между „струментом“ и „инструментом“, а то мне пришлось бы плохо. Иди потом „доказывай, что ты не верблюд“, как говорят в Москве,

Но, вернувшись к моей первоначальной

мысли, хочу сказать, что в Советской России имеется еще достаточное количество русских — образованных, представительных и знающих языки, и что нам вовсе не надо выбирать только между недоумками и евреями. Пусть меня не заподозрят в презрении к пролетариату, но, право же, я считаю, что коммунист, перед которым в СССР открыты более или менее все пути и который находится все двадцать лет в привилегированном положении, является чистейшей воды недоумком, если не выучился за это время хотя бы правильно читать и писать на своем родном языке. Как бы то ни было, еврейское засилие было на лицо, и мы, немногие русские, чувствовали себя в каком-то вражеском окружении, так как почти каждый еврей — хотя бы советская власть и лишила его торговли или его места на бирже — все же в душе является марксистом. У евреев нет родины, и они ненавидели наш царский режим, как ненавидят теперь Гитлера и национал-социализм. Они ненавидят всякие разговоры о родине вообще.

Чтобы не ходить далеко за примером, укажу на в высшей степени показательный факт. Книга моего мужа, И. Л. Солоневича, „Россия в концлагере“ не является антисемитской, но ярко антибольшевицкой, а главное, книгой националистической. Сотни друзей пишут нам из Америки, что хорошо было бы ее издать на английском языке, что спрос на такие книги сейчас в Соединенных Штатах большой и что на книгу Т. В. Чернавиной, напри-

мер, даже в сельских библиотеках Дальнего Запада образуется очередь.

И что же мы видим. Друзья наши хлопчут об издании этой книги. Ездят из издательства в издательство. Всюду кислый ответ. Ибо в американских издательствах на 90 процентов сидят все те же евреи. И даже в концерне газетного короля Херста, на которого, в частности, мы — русское зарубежье — смотрим с некоторым уважением и надежной за его антибольшевицкое направление, держат у себя лектором по русским изданиям — Дона Исаака Левина. Когда еще два года тому назад Левину была передана указанная выше книга с просьбой протолкнуть ее на американский рынок, он отказался под предлогом того, что американский рынок насыщен такого рода литературой. Теперь этот Дон-Левин, еврей из Одессы, тоже никакого содействия этой книге не оказывает, но она все же выйдет в другом издательстве. А в американских газетных кругах считается антибольшевиком. Весь секрет в том, что в душе он все же остался марксистом и противником всего национального у других народов. Это у евреев, повидимому, неизлечимая болезнь.

\* \* \*

Как бы то ни было, история с „инструментом“ и „струментом“ переполнила чашу моего терпения, и я решила всеми силами постараться выбраться на свет Божий из уничительного стенотипистского подполья. Ибо



роль стенографистки, а тем более просто машинистки очень тягостна. Ее рассматривают обычно, как некую механическую силу, относятся к ней пренебрежительно и, если она иногда решается высказать свое мнение или робко позволит себе самую легкую критику того, что ей приходится иногда писать, — на нее бросают уничтожающий взгляд.

— Подумаешь! Какая-то машинистка!

## БЮРО ПРЕССЫ И ИНФОРМАЦИИ

Я начала присматриваться к другим отделам и спрашивать своих коллег о составе торгпредства. Потом вспомнила, что из Москвы меня одна моя знакомая просила при случае передать привет и всяческие благопожелания ее старому другу Константину Владиславовичу Бродзскому. Его фамилия именно так и писалась — через букву „з“ — в отличие от просто Бродского. Он был чистокровным поляком и очень обижался, когда его принимали за еврея.

Оказалось, что товарищ Бродзский — старый польский коммунист — заведует Бюро Прессы и Информации берлинского торгпредства. И вот, в одно прекрасное утро я выбрала, наконец, свободную минутку, улизнула от зоркого ока моей секретарши и постучала в дверь этого бюро.

В первой, небольшой и довольно опрят-

ной, комнатке, стены были заставлены полками с книгами и папками, а посредине, за большим столом сидела пожилая женщина с короной из двух толстых белокурых кос. Это была Олигер, прибалтийская немка-коммунистка, ведавшая столом информации или, вернее, справочным столом торгпредства.

— Вам кого, товарищ? — спросила она меня.

— Могу ли я видеть товарища Бродзского?

— А зачем он вам?

— По личному делу, я недавно приехала из Москвы.

— Ах, так! Постучите вон в ту дверь.

Я снова постучала и, услышав стереотипное „Herein“, вошла в следующую комнату. Никогда не забуду первого, приятного впечатления, которое она на меня произвела. В то время, как остальные отделы торгпредства имели неприветливый, казенный и сугубо большевицкий вид, здесь пахло чем-то частным, индивидуальным и, если можно так выразиться, даже эстетическим. На столах и на окнах стояли горшки и вазы с цветами, по стенам высились дубовые шкафы с множеством книг, на полу лежал толстый ковер. Уже много лет мне не приходилось бывать в таком уютном и комфортабельно обставленном кабинете. Чем-то совершенно не советским пахнуло на меня, и я с тоской вспомнила о своем холодном и мрачном логовище в Электроимпорте и подумала:

„Вот бы здесь мне поработать!“

Но в тот же момент опечалилась, так как поняла, что это только мечта.

Из-за стола навстречу мне поднялся симпатичный человек лет сорока семи, в пенсне.

— Sie wünschen?

Я ответила по-русски, что недавно приехала из Москвы и что только хотела передать ему привет от знакомой его и его жены. Бродзский оживился, пригласил меня сесть, стал расспрашивать о знакомой и о Москве.

— Как у вас тут уютно!—не удержалась я.

— Вам нравится? Да, я здесь уже шесть лет и обставил себя с максимальными доступными удобствами. Кроме того, у меня здесь бывают корреспонденты иностранных газет и представители правительства. Мне надо иметь более или менее приличный кабинет.

— Да, в такой обстановке можно работать. А вот у нас, в Электроимпорте — семь машинисток в одной комнате, треск стоит оглушающий.

И вдруг точно добрая фея шепнула мне что-то на ухо.

— Как бы мне хотелось, товарищ Бродзский, здесь у вас работать!

Бродзский посмотрел на меня в задумчивости.

— А вы хорошо владеете немецким?

— Средне. Институтское образование.

— Ну, это маловато. Видите ли, в чем дело: товарищ Олигер, которая сидит там, в

первой комнате — вы ее видели? — моя прекрасная помощница и очень образованная женщина. Но так как она пробыла за границей уже семь лет, ее теперь откомандировывают в Москву. Это будет, правда, не сейчас, но ей уже объявили, что она должна готовиться. И вот, на ее место мне нужна будет помощница.

У меня захватило дыхание.

— Товарищ Бродзский, не можете ли вы меня взять на ее место? Я знаю четыре языка и была все эти годы не только переводчицей, но и референтом. Пишу на всех этих языках на пишущей машинке, знаю кое-как стенографию. Разбираюсь в экономических статьях иностранной печати.

Неприятно говорить о себе самой, но советский опыт научил меня, что надо не робеть. Хотя все то, что я перечислила Бродзскому и было правдой, — тем не менее, мне было смертельно неловко. Что это я сама так себя расписываю!

Между тем, Бродзский смотрел на меня и думал. По своей наружности он производил впечатление барина, утонченного и выхоленного. Его умные и немного насмешливые глаза поблескивали из под пенсне.

— А вы партийная?

Я осеклась.

— Нет.

— Вот видите, а Олигер — партийная, и, конечно, на ее место назначат мне сюда коммунистку. Впрочем, партийных со знанием языков очень мало. Кроме того, хорошо, что вы сами пишете на машинке. Это разгрузит не-

много мою машинистку — Олигер диктует ей массу писем. Словом, я вам ничего не обещаю, но постараюсь сделать для вас все, что смогу.

— Когда разрешите мне зайти?

— Наведайтесь этак через недельку. Только имейте в виду, что работа эта очень ответственная и трудная. Весь таможенный устав СССР нужно знать почти наизусть. Пошлины, транзитные правила и прочее. Надо отвечать на массу телефонных запросов.

Я не помню, как я вышла. В душе у меня плясала радость, и я была полна надежд. О тяжести работы я даже забыла думать.

В Электроимпорте секретарша на меня накинулась:

— Где вы пропадали? Вас инженер три раза звал, идите скорее стенографировать.

## ЮРА ПОСТУПАЕТ В ШКОЛУ

Тем временем моя личная жизнь шла своим чередом. Остаться у фрау Бетц оказалось не по карману, и мы перебрались, при помощи какого-то комиссионера по приисканию комнат, к другой фрау — фрау Буссе, на Потсдамерштрассе, в самый центр Берлина. Много позже, когда я близко познакомилась с этим прекрасным гордом и, в особенности, с его замечательными пригородами и окрестностями — я сама не понимала, как я могла выбрать для местожительства Потсдамерштрассе. На,

этой улице помещаются, главным образом, торговые предприятия, магазины и кафе; здесь проходит около двадцати трамвайных линий во все концы города; здесь день и ночь стоит шум и гул от проносющихся бесконечной вереницей автомобилей, а ночью не дает спать назойливый свет то зажигающихся, то потухающих световых реклам. Должна, однако, признаться, что в то время мы с Юрочкой стремились именно к этим „огням большого города“, потому что в Советской России были слишком долго погружены во тьму.

В те годы советская власть еще не обратила своего благосклонного внимания на очень важный, казалось бы, вопрос: где поселится тот или иной торгпредский служащий. Каждый мелкий служащий был предоставлен самому себе. В то время, как крупные коммунисты, включая и торгпреда, обязаны были жить в строго охраняемом доме № 11 на Литценбургерштрассе—где ныне помещается Торгпредство, — остальные селились где попало, переплачивали при этом много, но зато были сравнительно свободными в своей личной жизни. Позже, в 1930 году, из Москвы пришел секретный приказ, запрещающий селиться в Вестене (самый фешенебельный район Берлина) и предлагающий служащим жить в „рабочих кварталах“ Нордена и Остена. На первых порах приказ этот был принят всерьез, но, как почти все советские мероприятия, через несколько месяцев был забыт, так что и поныне подавляющая масса торгпредских служащих проживает именно в Вестене.

Не то теперь, после прихода к власти Гитлера. Советская власть правильно считает, что гитлеризм крайне заразителен, и поэтому, когда приезжает новый служащий или служащая — торгпредство само руководит выбором жилплощади и селит их преимущественно в... еврейских семьях. В 1936 году я случайно встретила в Берлине одну мою старую знакомую машинистку, которая попала на торгпредскую работу. Она снимала комнату в зажиточной еврейской семье, близ той же Литценбургерштрассе. В этой семье ее изо дня в день пичкали рассказами о „зверствах наци“. Когда в ее дворе какая-то женщина из-за сердечной драмы выбросилась из окна, хозяйка объяснила моей знакомой, что эта женщина покончила самоубийством из-за Гитлера. Долго говорить моя знакомая со мной боялась, но я все же посоветовала ей переехать в настоящую немецкую семью.

— Ах, знаете, Тамара, — сказала она мне печально, — я и сама хотела бы, но в Отделе Кадров надо непременно заранее заявлять — куда ты собираешься переехать. И туда сперва направляют свое доверенное лицо, чтобы выяснить — не к гитлеровцам ли попадет служащий. Бывают, конечно, случаи, что промахиваются, но наши служащие уже сами так напуганы, что стараются селиться только там, где укажет Отдел Кадров. А у него имеется ряд адресов, хотя и буржуазных, но большей частью еврейских квартир. Ибо каждый еврей — антигитлерист, и им только этого и надо.

Однако, проживая на территории страны,

нельзя совершенно изолироваться от данного режима, и русские, побывавшие в теперешней Германии и видевшие, что сообщения советских газет о голоде, депрессии, притеснениях и прочем — никакой критики не выдерживают, возвращаются на родину неминуемо распропагандированными. Так, мало по малу антисоветская информация о загранице просачивается и поддерживает тех, кто уже начал падать духом в постоянной внутренней борьбе против большевиков.

\*  
\* \*

Фрау Буссе сдала нам маленькую комнатку с утренним кофе и брала за это девяносто марок в месяц. Это было тоже дорого, но все же дешевле, чем у фрау Бетц. Кроме того, здесь имелось то преимущество, что Юре нашелся компаньон в лице сына хозяйки, Хейнса. Когда я уходила на работу — сын мой имел все-таки с кем провести время.

Меня очень заботил вопрос о Юрином образовании, и я спросила фрау Буссе, где учиться ее сын. Она всплеснула руками:

— Да вот тут же, за углом, Кернер-Оберреальшуде, очень хорошая школа.

— А примут ли туда русского?

— Ну, конечно, примут, у них там много иностранцев учится.

В эту ночь я спала очень тревожно. Вспомнилась невероятная волокита, которая предшествует в СССР всякому поступлению в школу. Свидетельство о социальном положении



родителей из домкома, удостоверение с места службы о размере ставки отца, а если мать работает — то и матери, метрика, свидетельство об оспопрививании и т. д. и т. д. А кроме того, не подвергнут ли Юрочку экзамену? Ведь он еще неважно владеет немецким языком. Та старенькая немка, которая за скудный советский обед давала ему в Одессе уроки немецкого языка, к сожалению, большей частью за уроками засыпала, так что результаты были не ахти какими. Правда, он теперь много разговаривал с Хейнсом, но у того язык, как и у всякого берлинца, оставлял по литературности оборотов и выражений желать лучшего. Первые чисто немецкие выражения, воспринятые Юрой от Хейнса, были столь же замечательны по своей сочности, как и по своей непригодности в приличном обществе.

На следующее утро я встала пораньше и до службы отправилась в Кернер-Оберреальшуде. Меня принял сам директор, симпатичный белый, как лунь, старичек, и ровно через десять минут Юра был учеником этой школы. Он оказался настолько способным, что два раза перепрыгнул из класса в класс, а его превосходный по методу преподавания учитель, доктор Хайзе, через три года говорил во всеуслышание:

— Не стыдно ли вам, ребята, вот Солоневич — не немец, а лучше вас знает немецкую грамматику.

С трепетом проводила я в первый раз Юру в немецкую школу. Большевики всячески стараются внушить, что капиталистические стра-

ны ненавидят русский народ, что на советских граждан косо смотрят и всячески их преследуют, так что мы с Юрой вполне могли ожидать, что в немецкой школе он будет нежеланным гостем. Однако, случилось совсем иначе. В первые недели учителя относились к нему особенно деликатно: чтобы не ставить его в смешное положение перед классом, его не спрашивали — он только сидел и слушал. Позже ему порекомендовали самого лучшего репетитора, который в небольшой сравнительно период подогнал его за целый класс. Никогда никто не позволил себе как-нибудь обидеть Юру, назвав его русским в оскорбительном смысле. Вообще Юра был совершенно равноправным учеником.

## СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В БЕРЛИНЕ

Нам с Юрой в отношении школы повезло. Уже в конце 1929 года из центра пришло распоряжение, чтобы дети советских служащих за границей обучались исключительно в новообразующейся советской школе, да и то только до четырнадцатилетнего возраста. Перешедшие этот возраст должны были отправляться родителями в СССР, чтобы там заканчивать свое образование.

Это было и неприятным, и неумным, изобретением, ибо служащие, выехавшие за границу с детьми, только о том и мечтали, а часто

только потому и стремились за границу, чтобы дать им европейское образование. Да и для самой советской власти, если бы она ставила благо страны и народа выше собственного стремления во что бы то ни стало удержать власть в своих руках, было бы несомненно выгоднее иметь юных граждан, владеющих иностранными языками и получивших европейские навыки. Но большевики к культуре относятся в высшей степени подозрительно. Перефразируя известное выражение, это отношение можно определить так: „Что нам культура и что мы культуре?“ Культура и цивилизация — вещи обоюдоострые: они вызывают дух сравнения, а сравнение не может быть в пользу советской действительности. А кроме того, вернувшись из немецкой или английской школы домой, в советскую школу, ученик, конечно, начнет делиться своими впечатлениями с товарищами. Нет, нет, это не годится.

Сказано — сделано. В самом стремительном порядке открылась в Берлине советская школа, а вскоре для нее даже был куплен участок земли в Ней-Темпельхофе и так же молниеносно было выстроено специальное здание „Russische Schule“. Одна пакость влечет за собой другую. Говорю — пакость потому, что мы, торгпредские служащие, именно так восприняли это советское новшество. Как и почти все советские мероприятия, оно встретило с нашей стороны дружный отпор, т. е. на общем собрании некоторые решились даже выступить против него публично, но когда настал момент голосования и председатель мест-

кома угрожающе произнес: „Кто против — поднимите руку!“ — приказ был принят единогласно. В СССР все делается, как в огромной казарме: на-а-ле-во, кругом, марш!

Пусть господин Наживин, льющий на нас потоки грязи за то, что мы служили большевикам, попробует сам переселиться в СССР и хоть один раз пойти против течения. Это ему будет не Бельгия — придется, пожалуй, познакомиться и с местами не столь отдаленными, где-нибудь на берегу Охотского моря.

Были выписаны учителя из Москвы, полуграмотные, некультурные, неряшливые, боящиеся слово сказать нагрубившему или хулиганствующему ученику. Особый торгпредский автобус раз'езжал по утрам по квартирам коммунистов и доставлял их детей в школу.

Впрочем, самых высоких советских сановников эта мера не коснулась, как не касается и теперь. Так, например, дочь последнего торгпреда в Берлине, Кандалаки, не посещала вообще никакой школы, брала уроки дома у лучших учителей, на прогулку выезжала только в автомобиле и вообще росла этаким тепличным растеньицем. Ничего не поделаешь — бесклассовое общество.

Как бы то ни было, под конец моего пребывания в Берлине начальство стало на меня косо поглядывать и настаивать, чтобы я перевела Юру из Кернер-Оберреальшуле в советскую школу. Я крутилась, как чорт перед заутреней. То говорила, что ему до диплома осталось только три месяца, то утверждала, что он болен и в школу вообще не ходит, то обе-

щала, что обязательно со следующего месяца переведу. Конечно, *à la longue* эта система не выдержала бы, но тут меня как раз откомандировали в Москву, и Юре удалось получить диплом. А это и было моей главной целью. Кроме более или менее законченного образования, у Юры осталось на всю жизнь знание немецкого языка, он узнал немецкую молодежь, путешествовал с ней в Гарц, в Исполиновы горы и в Саксонскую Швейцарию и научился ценить здоровый германский дух. Помимо того, немецкая школа, может быть, незаметно для него самого, внесла в жизнь Юры какую-то дисциплину, от которой советская школа всячески отучивает.

В дореволюционное время считалось сравнительной роскошью дать сыну образование за границей. Большевики все твердят о том, что советская власть раскрепостила низшие классы населения. Однако, когда выдвиненцы, приехав за границу, хотят отдать своих детей в иностранную школу, им это запрещают. Так и возвращаются они обратно в Совдепию, ничему в Европе не научившись.

Одна немка, которая сдавала торгпредским служащим комнаты, рассказывала мне, как сын одного из советских — десятилетний мальчик — выколол глаза Христу на стоявшей у нее на столе гравюре. Когда она, возмущенная, подняла скандал, отец извинил сына тем, что в школе ему прививают безбожие. О том же, что вообще нельзя портить чужих вещей, мальчику никто даже и не говорил. Немка возмущалась такой системой воспитания и говорила:

— Die verfluchten Bolschewiken!

## ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ТОРГПРЕДСТВА

Между тем, разговор с товарищем Бродским не прошел бесследно. Несмотря на усиленное противодействие со стороны старой большевички Олигер, ее все же решили окончательно откомандировать в Москву, так что вакансия в Бюро Прессы и Информации оказалась свободной. Очевидно, Бродский сообразил, что я ему буду полезнее, чем какая-нибудь коммунистка, которую ему назначат свыше, и поэтому приложил все усилия к тому, чтобы была назначена именно я. Тут помогли безусловно мое знание языков, машинки и стенографии. Таким образом, в конце марта 1928 года я была назначена референтом по выдаче справок по таможенным и транзитным вопросам, а также по вопросам, возникающим из существующей в СССР монополии внешней торговли.

Меня вызвали в Отдел Кадров, и та же Иоффе послала меня в Бюро Прессы и Информации с напутствием:

— Походите несколько дней к Олигер, она вам все объяснит.

Но это было очень легкомысленным взглядом на вещи. Вообще, нужно сказать, что большинство коммунистов — люди мало образованные, недоучившиеся, случайно выброшенные волной революции на поверхность — не представляют себе значения и важности специализации и образования. Им кажется, что раз у них в кармане имеется партийный билет, они сразу становятся специалистами.

Вообще сила знания и трудность его накопления им непонятна. Однажды меня один мой заведующий убеждал, что я в состоянии перевести à *livre ouvert* сложное описание какой-то подземной установки в шахте.

— Ведь вы же немецкий знаете, — удивлялся он, — так почему же не можете перевести?

Никогда не забуду также одного характерного случая, когда еще в Москве председатель месткома Союза Горнорабочих, озлобленный и желчный большевик, стучал по столу и кричал на нас — трех референток:

— Что это вы не изволите на собрания являться? Чтобы мне это было последний раз, иначе в два счета вылетите к чертовой матери.

А когда наш заведующий попытался заикнуться, что, мол, эти референтки — ценные работницы — они по четыре языка знают, то предместкома презрительно ответил:

— Что они языки знают, нам наплевать, а что они на собрания не ходят, так мы им гайки завинтим.

Так было и теперь. Не успела Олигер объяснить мне, как разбираться в увесистом „Таможенном Уставе“ и в весьма сложных правилах транзита через СССР, как через два дня ее откомандировали в самом спешном порядке, как будто бы на пожар.

И вот я сижу на ее месте и волнуюсь, и дрожу при каждом телефонном звонке, так как не знаю, как и что я должна отвечать, чтобы не сделать какой-нибудь ошибки. Легко

можно себе представить—что такое бюро справок в обычном крупном учреждении, но бюро справок крупного советского учреждения — это совсем, как говорится, особь-статья. Иностранцы, желающие что-либо купить или продать Советской России, иностранцы, желающие туда поехать, иностранцы, намеревающиеся послать какой-нибудь товар транзитом на Персию, Афганистан, Восточный Туркестан, Монголию, Китай — все они бродят по советским торгпредствам, как по дремучему лесу, пока их кто-нибудь сердобольный не надоумит: — А вы спросите в Бюро Справок.

Советский человек, приезжающий на время за границу в командировку и знающий, что ему предстоит скоро возвращаться в СССР, стремится узнать, что именно и в каком количестве он может провезти с собой обратно. Кое-кто из русских хочет послать что-нибудь своим родным в СССР и не знает, какие существуют правила для посылок. Научные германские институты, руководящие изучением торговых взаимоотношений с СССР, желают знать те или иные таможенные правила и пошлины. Германская Торговая Палата заинтересована в списке запрещенных и разрешенных к ввозу и вывозу товаров в СССР. Все эти люди и инстанции звонят или пишут, или приходят лично в Бюро Справок, и на все должны получить точный и исчерпывающий ответ. Кроме того, ведающий выдачей справок должен точно знать номенклатуру каждого отдела торгпредства, а также — какой инженер ведает той или иной частью этой номенклатуры.



Если я перечисляю теперь все эти функции, которые мне пришлось выполнять в течение почти трех лет, то исключительно для того, чтобы читатель еще раз себе ясно представил, почему, в частности, советское хозяйничанье привело за двадцать лет к голоду и почему в СССР ничего не клеится. Вот, к примеру, покорная ваша слуга — преподавательница по образованию, переводчица по профессии последних подсоветских лет. И на нее с бухты-барахты возлагают такие сложные и ответственные функции. Несмотря на мою ненависть к большевикам и к советскому режиму, я не могла относиться нечестно к моим обязанностям; в результате напряженной работы, я поставила Бюро Справок торгпредства на кое-какую высоту, чем заслужила благодарность посещавших Бюро немцев. Но что касается администрации, то она относилась ко мне механически-равнодушно, никто меня не хвалил, никто меня не ценил, и когда меня откомандировали обратно в Москву — заведенные мною с большим трудом печатные правила, проспекты, инструкции, указания, адресные списки и вся огромная переписка были свалены в большую кучу в подвале торгпредства, причем даже не было известно, кто придет на мое место и кому я могу передать дело. Это типичная для советского учреждения картина.

Недавно мне один знакомый немец писал из Берлина:

— Теперь в торгпредстве сам черт ногу сломит. Никто ничего не знает и не у кого спросить. Наш институт (это был научный эко-

номический институт) часто вспоминает о том времени, когда было Бюро Справок и когда в нем сидели вы.

\* \* \*

Бюро Прессы и Информации не было самостоятельным отделом торгпредства, а входило в так называемый экономический отдел. Во главе этого отдела до 1930 года стоял неизвестный в Германии, и особенно в Венгрии, Ленгиель, соратник Бела Куна и его министр иностранных дел во время красного владычества в Венгрии. Этого венгерского еврея звали „некоронованным торгпредом“, потому что настоящий торгпред, Бегге, был только игрушкой в его руках.

Кабинет Бегге находился против кабинета Ленгиеля, причем Бегге единолично ни одного серьезного вопроса, ни одной крупной сделки, ни одного решающего договора без согласия Ленгиеля не заключал и не подписывал. Вообще в большинстве случаев должность торгового представителя в той или иной стране является синекурой для какого-нибудь, не совсем удобного в Москве, старого большевика. Однако, такому старому большевику в настоящих делах советское правительство или, вернее, Сталин, не особенно доверяет, и поэтому около него сажают этакое пронырливое и опытное пройдоху, каким был Ленгиель. Когда в 1930 году Бегге был откомандирован и на его место был назначен Исидор Евстигнеевич Любимов, большевик с 1898 года, его

отдали под опеку умного, но беспринципного товарища Бессонова, который затем, до самого последнего времени, занимал аналогичную должность, но уже по полпредской линии — первого советника берлинского полпредства. Бессонов надолго пережил своего питомца. Любимов через два года вернулся обратно в Москву, где был назначен на тяжелую и еще более ответственную работу — Народного Комиссара Легкой Промышленности. Легкая промышленность оказалась для Любимова, увы, слишком тяжелой, и он ее постепенно свел совсем на нет. В настоящее время его с этого поста с позором изгнали. Так делаются дела в СССР!

\*  
\* \*

В Экономическом отделе, переименованном вскоре в Экономическое Управление, Ленигель опирался, главным образом, на своего верного и преданного ученика, тоже венгерского еврея—Радвани и на другого, но уже австрийского еврея—Рудольфа Андерса. В функции этих двух помощников входило налаживание экономической осведомленности торгпредства, для чего сидел целый штат экономистов. Самой же главной функцией отдела являлось составление годового отчета торгпредства, причем как раз эту функцию исполнял человек, который в торгпредстве никогда не работал и жалованья там не получал. Это был еврей

Лежнев (псевдоним), бывший редактор какого-то эсэровского журнала, высланный затем большевиками за границу без права возвращения. Позднее он все-таки выхлопотал себе разрешение вернуться в Москву и до самых последних чисток писал в „Известиях“. В Берлине он сильно нуждался и перебивался только тем, что работал для Андерса над составлением этого самого годового отчета, конечно, совершенно неофициально.

## НАБЛЮДАТЕЛИ

В виду того, что Олигер была старой, испытанной коммунисткой, ей вполне доверяли в политическом отношении и за ее работой следил только Бродзский. Но стоило на ее месте появиться беспартийной в лице меня, как ком'ячейка, зашевелилась, и в одно прекрасное утро, прийдя, как всегда, на работу, я с удивлением увидела, что в крошечную комнату, где до сих пор Олигер сидела одна, поставили еще один стол, вплотную к моему, за который уселся лицом ко мне некий молодой человек с беспокойным, типично чекистским взглядом. На мой вопросительный взгляд, он ответил:

— В нашей комнате очень тесно, так вот меня сюда пересадили.

— Ну, здесь-то не на много просторнее. А вы, товарищ, на какой работе?

— Я — экономист, моя фамилия Антонов,

давайте познакомимся. — И он решил, наконец, протянуть мне через стол руку.

— Давайте. Однако, не думаю, чтобы вам здесь было особенно удобно работать, товарищ Антонов, ведь ко мне целый день приходят люди, разговоры, телефонные звонки...

— Ну, это ничего. Мне это не мешает.

И водворился против меня окончательно. Зорко следил за мной, особенно первые дни. Несколько раз я поймала его роющимся в моих папках.

— Что вы ищете, товарищ Антонов?

— А тут без вас звонили по телефону, хотели узнать, какая пошлина на дамские ботинки.

— Но вы же знаете, что пошлины все в Таможенном Уставе, в папках этих сведений нет.

— Разве? А я думал, что в папках.

Вообще же Антонов, конечно, уследить за мной не мог, так как по немецки говорил с трудом, а понимал еще того меньше. Даже по линии чисто политической слежки большевизм не проявляет признаков гениальности.

Антонов имел сожительницей какую-то полу-польскую, полу-немецкую еврейку, которая вела, повидимому, очень важную работу в германской компартии. Думаю — важную, потому что, по его рассказам, его жена по вечерам — вечно на собраниях. Маленького роста, грузная, несмотря на свою молодость, вечно растрепанная и неряшливая — она раз три в день прибегала в нашу комнату и о чем-то шепталась с Антоновым.

Как-то летом Антонов пришел в понедель-

ник на работу в особенно приподнятом настроении. Я видела, что его так и подмывает мне что-то рассказать. Зная, однако, что чекисты любопытства не любят, я молча принялась за свою корреспонденцию.

— Тамара Владимировна, угадайте, где я провел субботу и воскресенье?

— Ну, как же я могу угадать? За городом гденибудь?

— Что за городом—это верно, а вот где именно?

— В каком-нибудь лагере?

— Почти угадали. Ну, так и быть, скажу. Тут он встал, обошел вокруг стола и нагнулся к моему уху:

— В лагере Nacktkultur.

Я недоумевающе подняла на него глаза. Правду сказать, до тех пор я не имела никакого представления о том, что такое Nacktkultur.

Антонов покатился со смеху, видя мое недоумение.

— Правда, интересно? Знаете — все ходят голышом. Буквально все — старые, молодые, дети. И как это ни странно, сперва мне было ужасно стыдно, я просто глаз не решался поднять. А потом, через несколько часов, так привыкаешь, что даже не замечаешь. Знаете, там целый городок устроен из палаток. Это к югу от Берлина, за Штралау-Руммельсбург. Там кругом леса, и среди них поляна, вот на этой поляне и расположен этот лагерь. Все больше рабочие с целыми семьями. Очень интересно.

— А ваша жена тоже была?

— Ну, а как же? Разумеется. Под вечер танцы устроили, надо было видеть. Вот будут в Москве хохотать ребята, когда я приеду и расскажу. Надо бы и у нас в СССР такое завести.

В этот день Антонов почти не сидел в комнате. Накткультур не давала ему покоя, и он бегал от товарища к товарищу и по секрету сообщал им о пережитом им удовольствии. Вообще Антонов никогда фактически не работал, как, впрочем, очень и очень многие коммунисты, командированные за границу. Утром он прочитывал „Правду“, затем делал вид, что разбирается в каком-то немецком экономическом журнале, а затем большую часть дня проводил в беготне по зданию торгпредства.

Осенью его откомандировали. С ним уехала и его жена. Думаю, что она в Москве работает по коминтерновской линии, так как, зайдя как-то по делу в 4-й Дом Союзов, я увидела ее фамилию на доске обитателей этого дома. А получить в те времена комнату в Доме Союзов могли только самые ответственные коммунисты. Звали ее Дейч.

После его отъезда я вздохнула немного свободнее. Работа у меня была очень напряженная, а тут еще сознание, что за каждым твоим словом следят. Все это было крайне неприятно. Но через два дня ко мне посадили... самого Радвани, помощника Ленгиеля. Теперь уже надо было держать ухо еще более востро, так как Радвани знал в совершенстве немецкий, самоучкой выучил русский, и скрыть от него что-либо было очень трудно.

Между тем, за полгода работы в бюро справок у меня накопился некоторый таможенный опыт, и я могла уже давать полезные советы посетителям. Полезные, разумеется, не советской власти, а наоборот. Особенно мне бывало жалко наших русских людей, иногда беспартийных специалистов, которые после четырех-пятимесечного пребывания в Америке или в Германии, возвращались в СССР. Норма того, что они могли провезти с собой в Москву, была так безобразно мала, а деньги уже были истрачены, кроме того, хотелось провезти какие-нибудь подарки детям или родным. Вообще норма провоза вещей была двух категорий: до года и больше года. Тот, кто провел за границей меньше года, мог провезти, например, три смены белья, одну пару обуви, не мог провезти никакого постельного белья и уже ни в коем случае ни граммофона, ни велосипеда, ни радио-аппарата. Тем же, кто прожил за границей больше года, разрешалось провезти не только это, но и обстановку для трех комнат и многое другое. И вот приходит какой-нибудь такой затрущенный русский инженер—пробыл за границей около десяти месяцев, накупил всякой всячины, а провезти, оказывается, не может.

Я помогала в таких случаях беспартийным русским людям, как могла. Коммунистам же давала чисто формальные ответы. Но это все было возможно при Антонове, который то и дело выбегал из комнаты. Радвани же — другое дело. Это был в'едливый, дотошный и медлительный человек. Целыми днями сидел он напротив меня, углубленный в свои бумаги,



но когда я говорила с кем-нибудь из посетителей, я, не видя, чувствовала на себе его тяжелый, испытующий взгляд. Так прошла вся зима.

## О НЕВОЗВРАЩЕНЦАХ И О ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ

— Тамара Владимировна, вы слышали, Гольдберг, из Лесного отдела, отказался вернуться в СССР? В Отделе Кадров полное смятение. Посылали к нему курьера с просьбой зайти в торгпредство и дать объяснения, однако, он отказался наотрез.

И маленькие глазки моей собеседницы — машинистки Экспортхлеба — возбужденно округляются.

— Подумайте только, получил вчера распоряжение в трехдневный срок вернуться в Москву и вчера же прислал вечером письмо Иоффе, что, мол, заставить меня возвращаться вы не можете, а я желаю остаться в Германии. Все в Отделе Кадров волнуются, бегают, говорят — будут требовать от германского правительства, чтобы оно Гольдберга выдало.

— А кто вам это сказал, Зинаида Васильевна?

— Мне Тася рассказала, по величайшему секрету.

Тася — единственная беспартийная машинистка, работающая в Отделе Кадров, большая

приятельница Зинаиды Васильевны. Через нее удавалось иногда узнавать весьма важные новости, например, о предстоящей чистке или о тех или иных мероприятиях этого крайне не-симпатичного для всех торгпредских служащих отдела. Тася, конечно, была в жизни очень осторожной — кого не научит советский режим? — но с Зинаидой Васильевной она была связана узами давнишней школьной дружбы и ей поверяла все. Зинаида же Васильевна, в свою очередь, доверяла мне. Она знала, что я никому ничего не скажу, так как, когда нужно, умею держать язык за зубами.

— А потом, знаете машинистку Отдела Силовых Установок Л-скую?

— Конечно, знаю, я с ней две недели в одной комнате работала. К ней еще дочка недавно из Москвы приехала.

— Вот-вот, так эта дочка познакомилась несколько недель тому назад в поезде — они ездили осматривать Потсдам — с каким-то англичанином. Он возьми да влюбись. Стали встречаться, а теперь он сделал ей предложение, и она выходит за него замуж. Матери предложили ехать с ними на Ривьеру, где у англичанина вилла. Подумайте, Тамара Владимировна, какое счастье привалило!

— Действительно, повезло. Ведь она и не очень красивая.

— Да, но чрезвычайно серьезная и умная девушка. Англичанин в нее именно из-за этого ума и влюбился. Но дело не в том. Слушайте — это интересно. Значит, мать пишет в Отдел Кадров, что в виду замужества дочери, она ли-

шена возможности дальше оставаться на службе в торгпредстве и уезжает из Германии. А Отдел Кадров ей отвечает: вас сюда из Москвы советское правительство командировало — значит, только оно и может вам разрешить оставаться за границей. А посему извольте сложить ваши чемоданы и отправиться обратно в Москву. Ваша дочь тоже должна была бы раньше испросить разрешения на выход замуж за иностранца, но тут уж мы ничего не можем поделать, она не наша служащая. А вы — другое дело. Если откажетесь вернуться — будем рассматривать вас, как злостную невозвращенку, советский паспорт у вас будет отобран, и имущество ваше, оставшееся в СССР, будет конфисковано.

— Неужели Иоффе решилась дать ей в руки такой письменный документ?

— Ну, что вы, нет! Послали к ней на квартиру жену Антонова с устным предложением.

— И что же Л-ская ответила?

— Сказала, что ехать в Москву ей незачем, так как там у нее родных никого нет, и что она не нуждается в советском паспорте. Зять выхлопочет ей нансеновский. Иоффе рвет и мечет, но сделать ничего не может.

\*  
\* \*

Для того, чтобы понять ту эпидемию невозвращенчества, которая охватила советские представительства за границей в 1929 году, надо прежде всего представить себе положение

торгпредского служащего. Если в СССР все чувствуют себя на службе неуверенно и никогда не знают, не уволят ли их завтра, то там такое увольнение не очень страшно, так как для более или менее культурного человека работа всегда найдется. Другое дело за границей. Здесь условия жизни настолько приятнее, чем в Советской России, а зарплата настолько выше, что каждый трепещет за свою работу, за каждый лишний день, который он может провести „за рубежом“.

Между тем, советское правительство зорко следит за своими служащими: имеется целая широко раскиданная сеть шпионов, которые информируют и ком'ячейку, и — в особо важных случаях — резидента ГПУ о том, не „разложился“ ли такой-то... Этот похабный, употребляющийся обычно в отношении трупов термин — „разложился“ играет колоссальную роль в жизни торгпредства. Увидят какого-нибудь торгпредского служащего в ночном кабаре сомнительного реномэ — „разложился“, наденет какая-нибудь машинисточка нечто более или менее кокетливое и отходящее от нормы — „разложилась“, решится, наконец, после долгой борьбы с самим собой и после мучительного откладывания денег, какой-нибудь техник или инженер купить мотоциклетку — смотрите, смотрите — он „разложился“... И надо сказать правду, ничего так не боятся торгпредские служащие, как этого похабного словечка. Ибо, не дай Бог, дойдет оно до ушей какого-нибудь зловредного коммуниста (бывают среди них и не зловредные, но как редкое исключение) —

и конец блаженству. Откомандируют в два счета, и пикнуть не дадут. А там, едва вы успеете проехать под аркой „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“, как не исключена возможность, что к вам подойдет некто и скажет: гражданин (или гражданка), следуйте за мной.

Советская же власть, в свою очередь, обуяна вечным страхом — как бы тот или другой из ее пасынков не „разложился“. И этот страх диктует совершенно непринятое ни в каком другом государстве и крайне вредное для работы постоянное перемещение людей с места на место. Только что инженер какой-нибудь научился мало мальски прилично говорить по-немецки, вежливо обращаться с клиентами, умело проводить договоры и разбираться в сложной европейской обстановке, как — трах! — у него замечаются, а иногда только кажется, что замечаются, признаки этого самого „разложения“, и его моментально срывают с работы, часто не дают закончить начатых сделок и откомандировывают обратно в лоно махехи-земли. И поэтому каждое торгпредство представляет собою проходной двор. Текучесть состава чрезвычайная, хуже, чем в Донбассе.

Эта текучесть кадров — общесоветская болезнь, и о ней уже много писалось. Но если внутри СССР она бьет по народному карману, то за границей она его катастрофически опустошает, ибо каждому служащему даются под'емные в валюте. Жалованье он получает тоже в валюте. Проходят долгие месяцы, пока он кое-как приспособится к окружающей новой

обстановке, где работа — не халтура, где существуют определенные эконо­мические законы и взаимоотношения, где договор — есть договор и качество продукции — есть действительно качество продукции.

Но едва такой советский служащий немного обжился и воспринял европейские на­выки в работе, как его срывают и отправляют обратно в СССР, где сплошь и рядом используют совсем не по той отрасли работы, на которой он был в торгпредстве, а то и еще хуже: заподозрят в чем-нибудь и отправят в места не столь отдаленные. А валюта уходит, и для того, чтобы получить эту валюту приходится отнимать у мужика и хлеб, и корову. Советская власть — никуда негодный хозяин, и ни одно государство в мире не стало бы терпеть подобного хозяйничанья.

Как правило, в торгпредствах человека не держат больше трех лет; есть, правда, исключения, как, например, кассир Никитин, который просидел семь лет, но это — чрезвычайная редкость. И это касается не только беспартийных, но и коммунистов. Даже, пожалуй, как ни парадоксально это звучит, больше коммунистов, чем беспартийных.

Особенно страдает, как это ни странно, как раз тот отдел, который фактически руководит всеми от­правками в СССР — Отдел Кадров. За три с половиной года, проведенных мною в торгпредстве, не было заведующего Отделом Кадров, который продержался бы дольше одного года. Иоффе исчезла в один прекрасный день так же бесследно, как исчез

в следующем году сменивший ее Евгеньев, а за ними через год отправились Гончарова и Охлопков. Как я слышала, после моего отъезда и до 1936 года сменилось на этой злосчастной должности еще трое, в том числе и Минкин, который затем пробыл по году на должности заведующего Лесным отделом и Интуристом. Нечего сказать — специализация!

Первая особенно большая волна невозвращенцев относится к 1929 году. За Гольдбергом последовало еще несколько человек, все по большей части специалистов, которые совершенно справедливо полагали, что они за границей даже без работы будут меньше голодать, чем в СССР. В бессильной ярости советская власть ответила на это массовое невозвращенчество средневековым декретом, по которому „все советские служащие, отказавшиеся вернуться в СССР, объявляются изменниками социалистического отечества и в случае, если затем переступят границу СССР, караются высшей мерой наказания, т. е. расстрелом. Все имущество их конфискуется“. Несмотря на всю абсурдность предположения, что невозвращенец все же решится потом переступить границы Совдепии, этот декрет был опубликован в „Правде“ и в „Известиях“, а на некоторых, наиболее пугливых, вот вроде Никитина, даже подействовал. Вместо того, чтобы преспокойно здравствовать у своих братьев в Эстонии, бедный Степан Никитич гниет теперь в одном из концлагерей.

В вопросе об откомандировании интересно проанализировать, почему коммунистов

чаще меняют на заграничной работе, чем беспартийных. Приведу для иллюстрации один комический случай. Впрочем, для героя его он был скорее трагическим.

Как-то сижу я за своими бумагами в Бюро Информации. Телефонный звонок. Отвечаю. Слышится густой немецкий голос:

— Говорит Полицейпрезидиум. Нам нужна справка.

— Пожалуйста. Чем могу служить?

— У вас имеется служащий Проскурнин?

Быстро роюсь в своем мозговом архиве. Проскурнин? Нет, такого не знаю и не слышала.

— Одну минуту, я сейчас справлюсь в Отделе Кадров.

Перевожу кнопку на внутренний телефон, звоню Гончаровой.

— Товарищ Гончарова, здесь Солоневич. Полицейпрезидиум спрашивает, есть ли у нас служащий Проскурнин?

— А зачем он им сдался?

— Не знаю.

— Раньше узнайте и скажите мне.

Опять перевожу кнопку. Спрашиваю, зачем Полицейпрезидиуму понадобился Проскурнин? В трубку нетерпеливо гудят:

— Нам надо знать, действительно ли он у вас работает, он здесь сидит арестованный.

— Арестованный, за что?

— Zum Donnerwetter noch einmal! Раньше скажите — работает ли он у вас?

Передаю Гончаровой, в чем дело. Она, наконец, разрешает ответить, что действительно



такой Проскурнин в списках служащих имеется, но что он только что приехал из Москвы и не окончательно-де утвержден в должности. (Осторожность никогда не мешает!)

Немец облегченно вздыхает в трубку и рассказывает мне следующее: вчера вечером Проскурнин, не говорящий ни слова по немецки, попал в какой-то Nachtlokal, напился там до чортиков, взял некую девицу, нанял такси и велел себя катать по городу. Прокатался до семи часов утра, а потом оказалось, что в кармане у него не оказалось достаточной суммы, чтобы уплатить шофферу. Тот и приволок его в Полицейпрезидиум. По немецки Проскурнин не говорит, а посему комиссар просит меня раз'яснить ему по телефону, что теперь его выпустят, но что он должен сказать свой адрес для составления протокола. Передают трубку Проскурнину. Говорю ему:

— Товарищ Проскурнин, говорят из торгпредства, что же с вами случилось?

В ответ слышится охрипший голос с простоватым вологодским акцентом:

— Со мной—ничего. Тут недоразумение.

— Какое же недоразумение, ведь вы ездили всю ночь на такси и не уплатили шофферу?

— Ничего подобного, здесь недоразумение.

— Как же так, товарищ Проскурнин? Вы теперь дайте полицейскому ваш адрес, они хотят составить протокол, вы должны заплатить шофферу что-то около 124 марок.

— Ничего я не должен.

Меня прерывают по-немецки и просят

прислать кого-нибудь из торгпредства для перевода.

Приходится рассказать все Гончаровой. Эта особа сменила Иоффе и даст ей сто очков. Для характеристики скажу, что она теперь секретарь одного из московских райкомов. Дора Гончарова (почему Гончарова?), выслушав мое сообщение по телефону, приходит в величайшее волнение и бросает трубку.

На следующий день я постаралась через Зинаиду Васильевну узнать у Таси, что случилось с Проскурниным. Ему была сделана жесточайшая головомойка, и в тот же вечер его откомандировали в Москву. Воображаю, что ожидало его там.

„Разложение“ — неизбежный удел коммунистов из рабочих и крестьян. Европейские соблазны влияют на них, как быстро действующий яд. Появляются лаковые ботинки или какой-нибудь сногшибательный галстук — и человек пропал ни за понюшку табаку. Если для культурного человека Европа приятна и занимательна, то для простого — это настоящая феерия, и пойдя тут — не разложись!

### С. Ш. О.

В один прекрасный полдень товарищ Бродзский вызвал меня к себе в кабинет. Несмотря на то, что наши комнаты находились рядом, по роду своей работы я мало с ним соприкасалась.

Он, правда, должен был подписывать те письма, которые я диктовала стенографисткам в ответ на многочисленные запросы фирм, отдельных лиц и учреждений, но разговаривать нам с ним почти не приходилось. Раз десять в день он пронесился через мою комнатку, как метеор, в корридор и обратно. Этим кончалось наше общение. Ибо функции наши были ясно распределены: он ведал прессой, а я информацией, т. е. выдачей справок. Если в первые недели моей работы мне приходилось часто обращаться к нему за разъяснениями по тому или иному поводу, то потом мало по малу я стала самостоятельно разбираться в таможенных дебрях и заходила к Бродзскому только в самых трудных случаях.

Но в этот день из кабинета вышла Эмми Эгер — прехорошенькая немочка-стенографистка — и сказала, что Бродзский простит меня зайти к нему.

— Тамара Владимировна, — встретил он меня, — отнесите, пожалуйста, этот документ в Секретно-Шифровальный отдел и проследите: пусть они отметят, что я его вернул.

Я удивилась в душе: почему он не пошлет Эгер? Но ничего не сказала, взяла документ и отправилась на розыски СШО. Я знала, по находящемуся у меня списку помещений торгпредства, что он находится в комнате 126, но еще ни разу там не была.

Комната 126 находилась в первом этаже, в крайнем правом конце длинного, темного

корридора. Но найти ее оказалось не так-то легко. Судя по предшествовавшему сто двадцать пятому номеру, эта комната должна была находиться в определенном месте, но здесь висел большой толстый ковер. Постояв несколько мгновений в нерешительности, я приподняла край ковра: да, действительно, под ним оказалась дверь, но, во-первых, без всякого номера, во-вторых, без всякой ручки. Точно замурованная изнутри, изъятая из употребления, больше ненужная дверь. Я попробовала постучать. Бесплодно. Вылезла из под ковра и пошла по корридору обратно. 127, 128, 129. . . комнаты чередовались в восходящем порядке дальше. Загадка ученого мира: как же мне попасть в СШО?

В это время из комнаты № 128 выбежала какая-то служащая.

— Товарищ, скажите, пожалуйста, как мне попасть в Секретно-Шифровальный отдел?

Но секретарша — мы с ней раньше не сталкивались, и я только потом узнала о ее чине — странно на меня посмотрела, ничего не ответила и стала быстрыми шагами от меня удаляться.

Мое положение становилось действительно и смешным, и затруднительным. Прогулявшись еще несколько минут, я уже решила идти обратно к Бродзскому, как вдруг мимо меня прошел заведующий Инженерным отделом Александров. Я повернула за ним. Он приподнял ковер, затем проделал какую-то манипуляцию — темнота корридора не позволила мне разобрать, в чем именно она состояла

ответил кому-то невидимому: „здесь Александров“; дверь сейчас же открылась, и он в ней исчез. Я бросилась к двери в надежде, что она не успеет за ним закрыться, но чуть не стукнулась об нее лбом. Она так же молниеносно закрылась. Тогда я начала изучать окрестности. На стене дверной ниши было нечто вроде телефона или, вернее, только телефонная трубка на крючке. Наугад сняла ее. Послышался голос: „Кто там“? Ответила: „Из Бюро Прессы и Информации—Солоневич“.

С полминуты мне никто не отвечал. Затем послышался вопрос:

— Вы ведь не засекречены, не так ли?

— Нет.

— Скажите Бродзскому, чтобы он вас раньше засекретил, а потом приходите.

— Но ведь я только хотела вернуть вам документ.

— Это безразлично. Впрочем — открываю.

В двери послышалось характерное жужжание — патентованный замок вроде тех, что запирают в цивилизованных странах парадные двери — и дверь стала открываться. Я вошла. Передо мной оказалось совсем узкое пространство, в котором двум людям было тесно повернуться. Здесь день и ночь горел свет, ибо кругом были стены и ни одного окна. Только в передней стене вырисовывалось наглухо запиравшееся окошечко, а в боковой — узкая дверка. Мне показалось странным, куда же делся Александров? Позже, когда мне приходилось довольно часто приходить в СШО за документами, я узнала, что

заведующие отделами — исключительно коммунисты — пользуются правом входа даже во внутрь самого отдела. Но не беспартийные. Беспартийные, хотя бы они были тысячу раз засекречены, должны иногда по полчаса торчать в закутке и ждать, пока через окошечко чья-то невидимая рука протянет им то или иное письмо и возьмет их расписку в получении.

Итак, я вошла и стала ждать. Дверь за мной бесшумно закрылась. Изнутри не долетало никаких звуков. Сесть было не на что. Я стояла, и постепенно меня начала охватывать какая-то жуть. Ведь вот ничего не стоит меня теперь схватить, связать по рукам и ногам, внести внутрь СШО и сделать со мной, что угодно, задушить, убить, потом запаковать и отправить в Москву под видом дипломатического багажа. У страха глаза велики — я даже не задала себе вопроса, зачем бы я — мелкая сошка — могла понадобиться большевикам! Вспомнился недавний рассказ, который я слышала у Никитиных. Одного невозвращенца заманила какая-то женщина в пивную. Там к ним присоединились еще какие-то два немца, стали все вместе пить, потом, очевидно, подсыпали чего-то в пиво; невозвращенцу стало нехорошо, и он упал без сознания. Собутыльники объяснили испуганному хозяину, что человек пьян, взяли его на руки, вынесли на улицу, уложили в стоявший как бы случайно тут же полпредский автомобиль и привезли в полпредство. А через два дня на отходивший из штеттинского порта советский грузовой теплоход погрузили

длинный ящик... нечто вроде гроба... Только его и видели.

Повторяю, мне стало страшно. Я бы хотела убежать, но дверь была наглухо закрыта, а ручки не было изнутри. Вошедший сюда мог выйти только с ведома СШО... Меня охватило чувство полной беспомощности.

Наконец, окошечко приподнялось и чья-то рука просунулась через него:

— Товарищ Солоневич, давайте то, что вы принесли. Но впредь, пока вы не будете засекречены, Бродзскому придется самому приходить сюда. С отъездом Олигер у него нет никого там засекреченного. А теперь можете идти. Окошечко опустилось... Сзади раздалось уже слышанное мною жужжанье, дверь медленно открывалась. Я выскочила в коридор и буквально помчалась, минуя патер-ностер, по лестнице вверх. Какое-то чувство облегчения наполнило меня всю. Запыхавшись, прибежала я в свое бюро. Как хорошо, что я не засекречена. Может быть, мне больше не придется переживать того, что я пережила сегодня.

Через полчаса Бродзский проходил через мою комнату.

— Ну что, Тамара Владимировна, сдали документ?

— Сдала.

— А проследили, чтобы они отметили?

— Ах, нет, Константин Владиславович, я вообще ничего не видела. Там сказали, что я не имею права носить секретные документы, так как я еще не засекречена. Сказали, чтобы вы пока сами приходили.

Лицо Бродзского выразило досаду и неудовольствие.

— Как, а разве вы действительно не засекречены?

— Конечно, нет, ведь я до сих пор была просто стенографисткой.

— Но тогда это необходимо сделать завтра же. Одну рекомендацию дам вам я, а другую постарайтесь найти у знакомого вам коммуниста. Однако, это надо сделать немедленно. Вам ведь постоянно придется иметь дело с секретной перепиской.

— А нельзя ли Эгер засекретить, Константин Владиславович?

— Да что вы, маленькая, что ли? Разве вы не знаете, что немцев, хотя бы и коммунистов, мы не засекречиваем. Они ведь все же не советские подданные, с них взятки гладки.

Мне стало, выражаясь по украински, каламитно. Неужели придется втягиваться в зубцы этой чортовой машины?

— Кто же второй за вас поручится?

— Я право не знаю, у меня ведь в торгпредстве никого нет знакомых.

— А вы как-то вначале говорили, что вас товарищ Н-ский на заграничную работу рекомендовал. Он ведь теперь в Лондоне, кажется? Вот напишите ему дипломатической почтой, он, наверное, не откажет в поручительстве.

— А как же я дипломатической почтой смогу послать?

— Это уж я устрою. Вы сами понимаете— если хотите оставаться на этой работе, должны быть засекречены.



— Но, Константин Владиславович, какие тут тайны в бюро справок?

— Как это — какие тайны! Вы разве до сих пор не обратили внимания, что большинство транзитных исключений к правилам секретны? Да может случиться, что вам и мне придется помогать. А мне самому неудобно бегать в СШО — носить корреспонденцию.

— Хорошо, я напишу сегодня.

Бродзский вышел, а я осталась размышлять о своей участи. Я знала на примере моих прежних сослуживиц, что засекречивание, не давая никаких привилегий, возлагает на данное лицо довольно большие тяготы. Боже сохрани, пропадет какой-нибудь документ, пусть самый пустячный, но такой, на котором написано „секретно“, или — что еще того хуже — „совершенно секретно“. В России бывали случаи, что за такую пропажу человека сажали в ГПУ, а иногда даже ссылали в концлагерь.

Между прочим, в порядке пособия к познанию советской действительности, нужно сказать, что большевики помешаны на конспирации и таинственности. Передалось ли это свойство им от далекого прошлого, когда их партия была еще в подпольи, или же их, как и всякую преступную организацию, должны связывать пароли, шифры и т. п., но то, что в нормальном государстве говорится и пишется совершенно открыто, в СССР сплошь да рядом является секретным и даже сугубо секретным. Так, например, транзитные правила на Внешнюю Монголию были постоянно засекречены, хотя мне

много раз приходилось раз'яснять их первым попавшимся иностранцам. Иногда, когда мне нужно было вести переписку с Наркомвнешторгом по поводу этих самых правил, я просто так — из озорства — писала наверху письма: „секретно“, хотя в нем абсолютно ничего неподлежащего оглашению не было. И на основании этого письма завязывалась целая секретная переписка. Опыт научил меня, что при советской конспиративности всегда лучше переборщить в таинственности, чем недоборщить.

Засекречивание началось с того, что я должна была заполнить длиннейшую анкету, в которой меня спрашивали, между прочим, кто были мой отец и моя мать, имели ли они недвижимое имущество, имею ли я родных или знакомых за границей и если да, то где именно, и прочее в том же роде. Затем надо было приложить три фотографических карточки, после чего все это было, повидимому, отправлено в Москву. Недели через две меня вызвали в СШО и дали подписать бумагу, в которой значилось, что в случае, если бы я разгласила тайны, которые мне будут известны, я буду наказана по статье такой-то Уголовного Кодекса СССР. А статья эта, как я потом узнала, гласила о шпионаже в пользу иностранной державы и грозила высшей мерой наказания, т. е. расстрелом.

Подписав эту бумагу, я почувствовала себя еще более прикованной к проклятой советской тачке и еще большей рабой советского

режима. И было у меня очень тяжело на сердце.

\* \* \*

Секретно-Шифровальный отдел, как я потом выяснила из своих личных наблюдений, пополняется почти исключительно чекистами и чекистками. Вся дипломатическая почта проходит через этот отдел и там упаковывается в дипломатические вализы. Кроме того, имеется целый штат шифровальщиков, которые зашифровывают и расшифровывают особо важные сообщения, идущие из Москвы и обратно. Эти шифровальщики все как на подбор люди некультурные, не знающие иностранных языков. Вообще весь штат СШО живет какой-то странной и обособленной жизнью. Служащие этого отдела не общаются со служащими других отделов, их никогда не увидишь беспечно болтающими в коридорах или в клубе советской колонии. Сам отдел на общем плане торгпредства обозначен, как отдел Е, без особого названия, и если, например, приходится говорить с ним по телефону, то не рекомендуется спрашивать: „Здесь СШО?“, а надо спрашивать: „Здесь отдел Е?“ И точно так же, как большинство чекистов подсоветский человек узнает по внешнему виду, так и у служащих СШО были особые отличительные черты, с маленькими отклонениями в сторону. Бегающий острый взгляд, глубоко сидящие стального или белесого цвета глаза, вечно недовольно-брезгливое выражение лица и нарочитая, подчеркнутая, противная вежливость. Холодная и сколь-

кая. Вежливость, которая в любой момент может схватить вас за горло. Бывают, правда, исключения—по внешнему виду, но очень редко, да и то внутренне ничем не отличающиеся от описываемого мною типа.

Как это ни странно, состав СШО менялся почти так же часто, как и состав Отдела Кадров. Я познакомилась с этой специфической текучестью кадров СШО, когда несколько позже на меня возложили наблюдение за кружками немецкого языка. Кружки СШО — они имели своего отдельного учителя, подозрительного типа из польских евреев, который, по моим сведениям, отсиживается в настоящее время в одной из германских тюрем,—постоянно претерпевали изменения, и редко кто посещал их больше десяти месяцев.

\*  
\*  
\*

Иногда случается, что на самые низшие технические должности СШО намечает себе жертву из беспартийных стенотиписток, т. е. в один непрекрасный день ее переводят в СШО. Так было, например, с милой и доброй девушкой Шиленковой. Когда я как-то вернулась из отпуска, который проводила под Москвой, эта Шиленкова, работавшая тогда в Отделе Кадров, пришла ко мне и стала лихорадочно расспрашивать о том, как сейчас в Москве, не лучше ли стало с продовольствием. По ее вопросам и по тем слезам, которые потекли у нее по щекам при известии, что в Москве все хуже и есть почти совсем нечего,—я почувствовала

в ней „родную душу“, я поняла, во всяком случае, что большевикам она не сочувствует и сочувствовать не может.

— У меня, знаете, мама и сестры в Москве. И они все такие беспомощные, не умеют устраиваться. Все сестры работают, но получают гроши и голодают. А я здесь так хорошо живу, прямо совестно.

И вот, эту-то Шиленкову забрали через несколько месяцев в СШО. И, думаю, забрали именно потому, что была она какой-то уж очень безобидной, и потому, что ее легко можно было запугать. Такая уж не выдаст секретов и тайн, так как будет бояться и за себя, и за родных. На характере ее эта перемена службы сказалась очень скоро. Она тоже стала как-то сторониться всех нас, очевидно, боясь, чтобы ее не заподозрили в разглашении тайн.

## „КОНТОФОТ“

Одним из подсобных органов Секретно-Шифровального отдела в торгпредстве является „Контофот“. Познакомилась я с этим отделом чисто случайно и вот каким образом:

В бюро прессы к Бродзскому ежедневно приходили посетители-немцы, то от какой-нибудь газеты, то от агентства, то от германских фирм. Сажу я как-то за столом и веду по телефону оживленную беседу с господином Лоренцом из Берлинской Торговой Палаты. Ох,

уж этот господин Лоренц, много он крови мне напортил! Он, видите ли, являлся в то время синдиком Палаты и решил, никогда не бывав в СССР и совсем почти не зная русского языка, написать книгу о торговых отношениях с СССР. Нужно сказать правду: Олигер, уезжая, предупредила меня:

— Тут вам каждый день будет звонить некий господин Лоренц. Он всегда хочет знать массу вещей и притом со всеми подробностями. В виду того, что книга, которую он хочет опубликовать, все же может стать пособием для советско-германской торговли, то с ним надо обращаться вежливо и давать ему все необходимые сведения, конечно, кроме секретных.

И действительно: в первые же дни после моего вступления на должность референта бюро прессы и информации, когда я — не имев до тех пор никогда в жизни практики телефонного разговора по немецки — трепетала и обливалась потом при каждом телефонном запросе, — господин Лоренц стал осаждать меня вопросами. Нечего и говорить, что половины их я в то время вообще не понимала, а на другую половину — отвечала невпопад и без особого знания дела. Господин Лоренц, однако, принадлежал к очень настойчивым людям, к тем, что на добром русском языке называются в'едливыми и дотошными. Бывали дни, когда он по полчаса не отпускал меня от телефона. Принимая во внимание путаницу в таможенных законах вообще, а в советских — в частности, и постоянные изменения в законодатель-

стве — можно себе представить, как трудно было Лоренцу довести до конца свой труд. Он ежедневно давал мне новые и новые задания — выяснить для него то или другое, запросить Москву о том-то и том-то, вычислить для него то-то и то-то. Кроме того, в первое время он, при всем своем немецком добродушии и терпении, все же выходил иногда из себя и негодовал, как это я его не понимаю или как это я чего-нибудь не знаю наверное. Впоследствии, впрочем, мы с господином Лоренцом стали добрыми друзьями. Когда вышла, наконец, из печати его книга — толстенный том на 800 страницах и стоимостью в 24 марки — он мне его даже презентовал. Однако, повторяю, мне от этого было не легче. В первые недели я каждый раз с ужасом ждала его звонка и с облегчением вздыхала, когда день подходил к концу без его вызова. Но вдруг, в самый последний момент — тр-р-р-р-р-дзинь...

— Informationsbüro der Russischen Handelsvertretung.

— Hier Dr Lorenz, guten Tag, ich möchte um eine kleine Auskunft bitten.\*)

\* \* \*

Так вот, в тот день я как раз сидела погруженная в один из таких оживленных разговоров с Лоренцом, обложенная книжками и справочниками и злая, как Вельзевул.

---

\*) Говорит д-р Лоренц, здравствуйте, разрешите маленькую справку...

В это время кто-то постучал в дверь. Крикнула:

— Herein!

Вошел какой-то господин с портфелем и спросил, может ли он видеть Бродзского. Я, не отрываясь от телефона, показала ему на дверь справа. Через минут десять, когда разговор с Лоренцом достиг своего апогея, из кабинета вышел Бродзский, неся в руках какую-то бумажку.

— Тамара Владимировна, бегите скорее в „Контофот“ и скажите, что я прошу сделать с этой бумаги снимок и поскорее. Вы там подождите и сейчас же принесите его мне, а я буду в библиотеке у Адлер.

С злорадством в душе я крикнула в трубку Лоренцу, что должна экстренно отлучиться и прервать разговор. Он выразил свое сожаление, но сказал, что через полчаса еще раз позвонит. От Лоренца трудно было отделаться. Это был в высшей степени настойчивый и неуклонно идущий к своей цели господин.

Спрашивать у Бродзского, где „Контофот“, я не стала, он бы постарался с иронизировать—бюро информации, а чего-то не знает! — и побежала вниз к своей приятельнице Зинаиде Васильевне. Она работала в торгпредстве уже два года и знала все ходы и выходы.

— „Контофот?“ — это внизу, рядом с хозяйственным отделом и экспедицией. Там на двери написано: „Unbefugten Eintritt verboten“\*), вы постучите.

---

\*) Посторонним вход воспрещается.



Спустилась вниз, нашла дверь, постучала. Дверь бесшумно отворилась, и я очутилась опять-таки в маленьком корридорчике. Из боковой дверки вышла служащая и спросила, что мне надо. Я передала ей просьбу Бродзского. Тогда она, словно нехотя, впустила меня внутрь. Почти вся комната была занята репродукционной камерой. В углу стоял прожектор. Служащая прикрепила поданный мною лист к экрану камеры, осветила его прожектором, повернула какие-то рычаги. Затем ушла в темную комнату, проявила, промыла в тут же стоявшем бассейне, высушила электричеством, запечатала в конверт и отдала мне. Вся процедура заняла не больше десяти минут.

Неся конверт обратно, я очень хотела узнать, что именно могло так заинтересовать Бродзского. Но конверт был запечатан. Мой шеф ждал меня в библиотеке, и мы вместе вернулись в бюро. Оказалось, что это имело какую-то связь с тем господином, который у него ждал. Прикрывая за собой дверь в кабинет, Бродзский любезно ему сказал:

— Я не нашел заведующего, он как раз вышел. Не будете ли вы любезны зайти завтра?

Через несколько минут господин ушел. Больше я его не видела, но разгадка наступила уже на следующий день.

Как и во всяком большом городе, в Берлине есть частные детективные бюро, одним из которых является „Auskunftei“. Для проверки тех или иных своих клиентов берлинское торгпредство пользовалось услугами именно этого бюро. Когда на следующий день я

пришла на службу, на столе лежали, как всегда, десятка два писем и открыток, и между ними было письмо со штемпелем „Auskunftei“. Очевидно, машинистка, ходившая за почтой вниз, по ошибке положила его на мой стол. Ничего не подозревая, я вскрыла конверт. Там были сведения о каком-то человеке — фамилии точно не помню — и говорилось, между прочим, что он — бывший белый офицер, эвакуировавшийся из России с Армией Врангеля. Теперь он состоит на службе у такой-то фирмы.

Поняв, что письмо адресовано не ко мне, я отнесла его своему шефу. Тот пробежал справку и сорвался с места.

— Вот видите, как хорошо, что я дал вчера переснять его удостоверение и фотографию. Ведь является этаким молодчик, как представитель солидной фирмы, „фон“ такой-то, по немецки говорит, как Бог. Говорю: „Имеете ли вы полномочия?“ В ответ дает удостоверение с места службы с фотографической карточкой. Но что-то в его манере держать себя показалось мне сомнительным. А теперь оказывается — белогвардеец. Нет, как ков нюх у меня, а?

И Бродзский довольно зашагал по кабинету.

— Уж теперь мы этого молодчика и на порог не пустим в торгпредство, занесем в черные списки и баста.

Я стояла, и у меня все трепетало внутри от беспомощности, от сознания, что вот я — пусть невольно — а все же как-то повредила неизвестному своему единомышленнику. А сам

Бродзский, которого я сперва имела наивность принять за „приличного“ большевика, оказался таким же, как и все другие. Мне почудилось на секунду, что под его холеными усами мелькнул оскал зубов. Мелькнул и исчез... Но впечатление осталось уже навсегда. Себя же я в душе проклинала за свою несообразительность, за то, что не скрыла этого письма, не порвала его и не бросила в корзинку. Впрочем, тогда все равно запросили бы „Auskunftei“ вторично.

\* \* \*

Приблизительно годом позже в мою почту попал об'емистый пакет, адресованный по русски: „Центральному Совету немецких профсоюзов“. Почерк был корявый и совершенно явственно бесграмотный, так что даже добросовестная и аккуратная немецкая почта не смогла выяснить, кому и куда именно адресовали пакет. Доставили в торгпредство, так как это учреждение в глазах немцев было русским и получало из России большую почту. А так как никакой определенный отдел торгпредства на конверте не значился, принесли его в Бюро Прессы и Информации.

В комнате как раз никого не было. Я вскрыла конверт—жалкий, желтый советский конверт; внутри оказалось длинейшее послание на шестнадцати страницах, написанное карандашом вкривь и вкось, с массой ошибок и совершенно без знаков препинания! Письмо

было из Ростова, и в нем от имени рабочих и крестьян Донской области автор умолял немецкие профессиональные союзы обратить внимание на бедственное и безвыходное положение пролетариата под властью „душегубов-большевиков“ и перечислял большевицкие козни и произвол, эксплуатацию и издевательства. Все это было написано так просто, так, наивно и так чисто по русски — с надеждой на то, что немецкие социал-демократы так-таки действительно возьмут и повлияют на большевиков. Письмо заканчивалось призывом: „Братья, помогите, кто в Бога верует, а уж мы в долгу не останемся“.

Я читала, и глаза мои под конец уже ничего не видели от слез. Что же делать с этим письмом? Оставить у себя в столе? — Так ведь ГПУ почти каждую неделю производит поголовный обыск во всех помещениях и столах торгпредских служащих. Для этой цели мобилизуются поочередно чекисты и особо надежные коммунисты, несущие в данный день дежурства по торгпредству, и обходят поздно вечером все комнаты. Когда утром приходишь после такого обхода на службу — то на столах и в столах находишь все не на том месте, куда клал. Вынести письмо из здания торгпредства и постараться, чтобы оно действительно дошло по назначению? — Да, пожалуй, это будет самое лучшее. Но вдруг завтра кто-нибудь хватится этого письма? Вдруг — это западня, очередная чекистская провокация?

Несчастный подсоветский человек! Он

никогда не может быть самим собой, он всегда боится предательства и провокации. За ним следят сотни глаз, а если иногда эта слежка каким-то образом ослабевает, ему самому все же чудится, что она есть. . .

В коридоре раздались шаги у самой моей двери. Я похолодела: войдут, захватят письмо, потом наведут в Ростове справки, могут узнать автора, тогда ведь ему грозит неминуемый расстрел. Удивительно, как вообще это письмо проскользнуло мимо советской цензуры. . . Лихорадочно скомкала я письмо и сунула в свою сумочку.

Вошел Андерс и подошел вплотную к моему столу.

— Товарищ Солоневич, не можете ли вы мне сказать, кто у нас теперь ведает закупкой оптических приборов? Ведь Пурица, кажется, перевели в Гамбург?

У меня отлегло от сердца. Ему нужна только справка.

А вечером, выйдя из торгпредства, я зашла в ближайшее почтовое отделение, отыскала в телефонной книге адрес центрального совета германских профсоюзов, вложила ростовское письмо в другой конверт, приложила маленькую записочку — вскрыто по ошибке, попало не по адресу — и отправила по назначению. Я думаю, что на это письмо тогда никто не обратил внимания, так как, хотя в то время в Германии еще и не было „Народного Фронта“ на подобие теперешнего французского, но была все же „симпатия“ социал-демократов к „авангарду мирового пролета-

риата“, хотя этот „авангард“ и пакостил „социал-соглашателям“ чем и как мог. Но в тот вечер у меня было хоть маленькое удовлетворение: письмо дошло по назначению, смелые люди из Ростова могут спать спокойно. И еще сознание, что я выполнила хоть какой-то маленький долг.

## КАК ЕЗДЯТ В ОТПУСК

Месяц за месяцем пробежали почти полтора года, и мне полагался, как говорят в СССР, „декретный“ отпуск. Я могла провести его, подобно другим торгпредским служащим, либо на германском курорте, либо поехать с экскурсией в Италию или Францию, словом — посмотреть мир. Но муж мой оставался все это время в одиночестве, да еще в Советской России, что по существу не много веселее, чем тюремное заключение. Мы с Юрчиком долго решали, как нам быть, и пришли к заключению, что для того, чтобы отец поменьше оставался один, мы поедem в Салтыковку в две смены. Сперва я, а потом Юра.

Отпуск в СССР! Для каждого советского служащего добровольная поездка в советский рай представляется чем-то неприятным, тревожным и опасным, независимо от того, что их ожидает там близкий сердцу человек. Этот отъезд сопряжен с большими хлопотами, беспокойством и бесчисленными приготовлениями.

Как я уже писала раньше, в СССР непрерывно царит товарный голод. Каждый командированный за границу считает себя уже потому счастливым, что он может одеться сам и привезти своим близким в подарок хотя бы самое необходимое, чего в СССР не достать. Но тут перед ним встает преграда в виде пресловутой нормы. Есть два стандартных списка — один поменьше, другой побольше, причем едущий только в отпуск может взять с собой „малую норму“. Вот тут-то и начинается трагедия. Ибо никто из едущих в СССР в отпуск не знает — вернется ли он снова на место своей службы или его оставят в России безо всякого предупреждения.

Это, между прочим, одна из своеобразных черт советской системы: совершенно не считаться с интересами отдельного индивидуума — более того — всячески им пренебрегать. Упрощая, можно было бы подумать, что советская власть старается сделать своим подданным все на зло! Ибо, кажется, так просто было бы предупредить назначенного к откомандированию служащего за месяц, дать ему возможность собраться, купить все необходимое, поносить новую одежду (так как через границу можно везти только подержанные вещи) и потом дать ему спокойно уехать. Но это означало бы действовать согласно здравому смыслу. У большевиков же все шиворот-навыворот. И поэтому едущий в отпуск в Россию должен готовиться к самому худшему. Должен закупить вещей, как если бы он уезжал навсегда, поносить их и перестирать

уложить их, как полагается, и, уезжая, поручить квартирной хозяйке, чтобы она, в случае его невозвращения, отправила их в СССР, проделав предварительно все необходимые формальности в торгпредстве.

Это и многое другое и является причиной того, что торгпредский служащий по мере своих сил старается домой в отпуск не ездить и делает это лишь в самых исключительных случаях. Мой случай и был исключительным. Как никак семья наша была разделена на две части, и время от времени нужно было ее соединять.

По мере того, как в СССР проводилась коллективизация и создавался голод, стали уменьшаться экспортные контингенты. Уже не стало жирных гусей, которые еще в 1927 году продавались по дешевке в крупных берлинских магазинах Тица, не стало сибирского масла и прочего. Стало меньше и валюты. Тогда советская власть взялась за ум и постановила: все советские служащие за границей обязаны проводить отпуск в СССР. Ибо таким образом сберегается известная часть валюты, которая раньше, разбазаривалась по французским и итальянским ривьерам. Кроме того, не так „разлагаются“ служащие. Окунаясь ежегодно в родную советскую грязь, бестолочь и голодуху, они не столь заметно европеизируются и не так брезгливо морщат нос, когда им приходится возвращаться в СССР навсегда. Распоряжение о проведении отпусков в СССР пришло, однако, лишь в 1930 году, а мой пер-



вый отпуск в 1929 году я провела в России совершенно добровольно.

Приезжая в Москву, отпускник обязан немедленно явиться в Наркомвнешторг и сдать там свой заграничный паспорт. Тем самым он автоматически превращается в ничто и попадает в лапы всемогущего ГПУ. Весь отпуск, таким образом, пронизывает сплошное ожидание довольно неприятного свойства: разрешит ли ГПУ выехать обратно? Только за три дня до отъезда за границу служащий получает свой заграничный паспорт и визу.

За те три с четвертью года, которые я проработала в берлинском торгпредстве, было не менее тридцати случаев, когда служащий, уехав в отпуск или командировку, больше не возвращался в Берлин. Чаще всего тот или иной инженер или вообще специалист вызывался в Москву по, якобы, срочному делу, а затем не получал визы обратно.

Стенографистка Р. уехала в отпуск к мужу, оставив в частном Kinderheim своего двухлетнего ребенка. Прошел месяц, потом еще месяц — ее все нет. Сотрудницы ее стали беспокоиться—что же с ней? Организовали дежурства посещения ребенка в Heim'e.

Наконец, пронесся слух, что она оставлена в Москве и прислала письмо местному с просьбой похлопотать о том, чтобы она могла вернуться в Берлин только на три дня—взять ребенка и собрать вещи. Местком канителил недели две и, несмотря на умоляющие письма и телеграммы матери, ответил отказом. Он ничего не может сделать, а денег на дальнейшее

содержание ребенка у него нет. На беду ребенок как раз заболел корью. Мать в Москве сходила с ума от беспокойства. Мы — слушающие — устроили между собою сбор средств и уплатили за содержание и лечение ребенка, а затем нашли одного инженера, отправлявшегося в Москву, который согласился доставить ребенка матери.

Другой случай кончился совсем трагично. В течение ряда лет в торгпредстве работал старший бухгалтер В. Это был один из тех добросовестных служаек, которые сидят за своим грессбухом, политикой не занимаются и уверены, что их поэтому никто тронуть не может. Последние два года он был заместителем заведующего Финансовым отделом торгпредства, оказал большие услуги по составлению годового отчета и вообще имел репутацию скромного и трудолюбивого человека. Жена его — красивая седая женщина — тоже работала, а две дочери учились в немецких школах.

Подобно Никитину, ему удалось продержаться в торгпредстве дольше других, причем он ни разу не ездил в отпуск в СССР. Правда, и отпусков-то он несколько последних лет совсем не получал — ему за это выплачивали денежную компенсацию. Это часто делается с хорошими, трудно заменимыми работниками.

И вот, приходит он однажды к нам, в бюро информации.

— Здравствуй, Тамара Владимировна, хочу вас сегодня и я, наконец, потревожить.

— А что, неужели откомандировывают?

— Нет, только в отпуск еду. Уговорили, знаете ли. Товарищи из Дерулуфта предлагают бесплатный проезд туда и обратно на аэроплане. Ну как тут не соблазниться.

— Да уж, действительно, просто можно вам позавидовать.

— Хочу вот узнать, сколько чего мне с собой можно брать?

Умудренная горьким опытом, я сказала:

— Знаете, что я вам посоветую. Купите себе все новое, вдруг вас там оставят; а тогда жене вашей здесь ведь трудно будет все для вас заказывать, да и не пропустят тогда новых вещей.

— Нет, что вы, Тамара Владимировна, у меня баланс на носу, здесь меня некем сейчас заменить. Не оставят.

Он обладал врожденным оптимизмом, а кроме того, был все эти годы слишком погружен в свою работу и многого не замечал из того, что вокруг него делалось. В теперешней России, хоть и редко, но все же еще попадаются такие типы.

— Ну, как хотите, а только береженого и Бог бережет.

Взяв список „малой нормы“, он вышел, крепко пожав мне руку.

Прошел месяц. В суете повседневной работы я совершенно забыла о нем. Но как ни стараются большевики обдeldывать некоторые свои делишки в тайне, слухи о них просачиваются какими-то совершенно непонятными путями.

— А вы слышали, бухгалтер не вернулся.

— А вы знаете, его жена плачет целыми днями.

— Говорят, что его арестовали и держат на Лубянке.

— В. больше не вернется, и жена немедленно вызывается в Москву.

Все эти слухи долетели, наконец, и до меня. Я вспомнила наш последний разговор и подумала: при большевиках нельзя, грешно быть оптимистом. Надо всегда предполагать самое худшее.

Но самого худшего, оказалось, и я не предполагала. Да и кому могло бы такое прийти в голову!

Наш бухгалтер прилетел в Москву, погостил у своих родственников где-то в Коломне, отдохнул, пришел в Наркомвнешторг за паспортом, получил безо всякой задержки визу и зашел в правление Дерулуфта, где ему дали билет на отлетающий через два дня в Берлин аэроплан.

Ранним утром в день отъезда он с радостным чувством приехал на московский аэродром, довольный, что снова возвращается в Германию к семье, которую он горячо любил. С чемоданчиком в руке он пошел вместе с остальными немногочисленными пассажирами к аэроплану. У входа еще раз проверяли паспорта и визы.

Пилот дерулуфтовского аэроплана, который затем виделся с женой бухгалтера в Берлине, был свидетелем, как все произошло, и подробно ей обо всем рассказал. Чекист, просматривавший паспорта, долго разглядывал

паспорт бухгалтера В. Потом, махнув рукой, чтобы заводили моторы, сказал ему сухо:

— Гражданин В., у вас не все в порядке, вам придется остаться.

Бухгалтер побледнел, как стена, и растерянно оглянулся кругом.

— Как же так, товарищ, ведь в Наркомвнешнорге мне сказали, что я могу ехать. Да и в торгпредстве меня ждут, там срочная работа — баланс...

Дальнейшего, за шумом моторов, слышно не было. Бухгалтер еще хотел что-то крикнуть по направлению отделявшегося от земли аэроплана, потом пошатнулся и упал. Его подхватили под руки. Больше пилот ничего не видел.

Жену бухгалтера вызвали в Москву телеграммой. Позже пришло от нее печальное известие, что муж ее скончался тут же на аэродроме от разрыва сердца.

Со стороны это может показаться невероятным и даже смешным. Но бухгалтер В. страдал пороком сердца. Неожиданность, да еще так коварно инсценированная, была для его сердца таким потрясением, что оно не выдержало.

\* \* \*

После всего рассказанного, можно себе представить, что, уезжая в отпуск в СССР, я чувствовала себя не особенно уютно. Благодаря постоянному общению с приезжающими и отъезжающими служащими, я узнала многие ухищрения для обхода бдительности советских

таможенных чиновников. Не буду на этих страницах о них говорить — пусть наши бедные подсоветские и дальше провозят свое добро на здоровье. Скажу только, что мне удалось провезти домой значительно больше нормы. Впервые за долгие советские годы на нашем столе в Салтыковке лежали первоклассные копченые колбасы, сардинки и изящные треугольники всяких сыров. Приглашенные на пиршество знакомые качали головами и говорили:

— Вот как живут за границей..

Какой грязной и неудобной казалась Москва после Берлина! Глаз привык уже за полтора года к асфальту, к чистоте, к автомобилям, к хорошо одетой толпе. Москва встретила меня прежде всего дореформенными „ваньками“, причем лошади их были тощи как Россинант, а пролетки оборваны и обшарпаны. За такси стояли очереди, и происходили драки между желающими проехаться. Так было в 1929 г. и в последующие годы, так это и теперь. Недавно приехавший из Москвы иностранный дипломат подтвердил мне это. Просто не верилось, чтобы в то время, как в Европе люди живут комфортабельно и сытно, ибо даже безработный там, в сущности, не голодает, в этой огромной, неистощимо богатой своей землей и недрами стране — царит такой хаос, голод и несправие!

Маленькая деталь в качестве характеристики этого хаоса: во время отпуска я почти каждый день приезжала из Салтыковки в Москву по всяким делам. Промучившись в переполненном грязном вагоне третьего класса

(в дачных поездах вокруг Москвы до сих пор второго (мягкого) класса не имеется), я, наряду с остальными, с бою брала трамвай, шедший по Земляному Валу, Покровке и Маросейке, и сходила на площади перед Китай-Городом. В это лето, как и всегда, Москва чинила свои мостовые. Груды камней беспорядочно загромождали улицы. На месте официальной трамвайной остановки у самых рельс был навален булыжник, и трамвай изо дня в день останавливался так, что пассажирам приходилось спрыгивать как раз на эту грудку камней. Принимая во внимание, что это одна из самых центральных остановок, что здесь проходит десяток других трамваев и что все они переполнены до отказа спешащими на службу людьми, можно себе представить — как это удобно и какие сцены при этом разыгрываются. Люди портят себе обувь и нервы, многие падают и ушибаются. Но как вагоновожатый, так и кондуктор смотрят на это безразлично и даже не без некоторого злорадства. Поражает при этом полное отсутствие заботы о человеке и медленные темпы ремонта.

А разве городская администрация предупреждает пассажиров, если трамвай изменил временно маршрут? Да никогда и ни за что! Люди собираются толпами, тщетно ждут, ругаются, волнуются и теряют массу времени для того, чтобы, в конце концов, узнать, что трамвай идет не по этой, а по другой улице. В Берлине в таких случаях на столбах всех трамвайных остановок данного маршрута вывешивают точный план следования трамвая.

А пресловутая милиция? Наркомвнешторг за время моего отсутствия из Москвы изволил переехать в другое помещение, причем мне назвали только улицу, а номера дома не сказали. Я подошла к стоявшему на углу этой улицы милиционеру и спросила, не знает ли он — где Наркомвнешторг. Милиционер—молодой парень—исподлобья посмотрел на меня и буркнул:

— А кто его знает.

Но я решила не сдаваться.

— Ведь вы же, товарищ, — милиционер. Должны знать, где находятся правительственные учреждения, это должно быть где-то на этой улице.

Он безразлично смотрел вдаль.

Я не отставала.

— Разве у вас нет справочника, плана Москвы, с указанием всех главных учреждений?

Милиционер, наконец, вышел из себя:

— Проходи, проходи, гражданка, чего пристала!

А у меня невольно вставал в памяти берлинский „шупо“ в ладно прилаженной темно-синей форме, в блестящей черной каске, любезный и приветливый — ибо государство этого от него требует, — который даже в самом водовороте берлинского движения, среди сотен автобусов и автомобилей, вынет из кармана справочник и до тех пор вас не отпустит, пока точно и толково не объяснит со всеми подробностями, как именно и где именно вам найти желаемый адрес. И в душе снова и снова поднималось возмущение. Так мелочи де-



лают жизнь культурной и удобной. И так мелочи портят нервы и существование.

Пришлось итти разыскивать Наркомвнешторг кустарным способом, останавливая прохожих:

— Простите, гражданин...

Но самое возмутительное было то, что Наркомвнешторг оказался на том самом углу, где стоял вышеуказанный милиционер. Сдав паспорт и выйдя снова на улицу, я все-таки решила еще раз наставить его на путь истинный.

— Товарищ милиционер, — начала я, — ведь то учреждение, о котором я спрашивала, оказывается, у вас под носом. Как же вы не знаете, где оно находится? Я пожалуюсь на вас в управление милиции.

Но тут произошло нечто совсем уже неожиданное. Лицо милиционера как-то сморщилось, точно он собирался заплакать, и, чмухнув носом, он произнес:

— Откедова же нам все знать, ведь мы три месяца, как из деревни. Богороцкие мы.

И вдруг мне стало его жаль. Действительно, откуда ему знать, если власть не заботится о том, чтобы он знал, если через три месяца после прихода из деревни его, еле обученного, еще неотесанного, власть уже ставит на ответственный пост милиционера в самом центре Москвы. Виноват ли он в том, что столичный милиционер получает не больше не меньше, как 57 рублей в месяц жалованья? Что такое пятьдесят семь рублей при московской дороговизне? И кто пойдет на эту работу? Немудрено поэтому, что текучесть мили-

цейских кадров достигает невероятных размеров, и московский милиционер—это существо, по большей части, мало тренированное, мало культурное и полуграмотное.

## ЮРИНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Когда я вернулась из отпуска в Берлин, меня встретил на вокзале сияющий Юра и сразу же спросил:

— Мутик, теперь и я, наконец, поеду к папе, да?

И хотя я знала, что поезд Берлин — Москва идет почти без пересадки—надо только в Негорелом перейти из вагона в вагон—все же у меня дрогнуло сердце. Мой мальчик еще не ездил один, а тут все-таки предстояло путешествие в две тысячи километров, да еще и через две границы. Но ехать было надо уже по одному тому, что между Иваном Лукьяновичем и Юрой, были исключительно дружеские и любовные отношения, и нельзя было, чтобы сын отвыкал от отца. Снарядив Юру в путь-дорогу, я просила его не выходить ни на каких станциях из вагона и особенно быть осторожным в Варшаве, где поезд во время стоянки переводится на другой путь. Я собственноручно упаковала его чемоданы, снова наложив в них разных с'естных продуктов. У Юры как раз начались каникулы, и он мог пробыть в Салтыковке до самого их конца. В последние дни

было много беготни из за виз и паспорта, так как Юра первоначально был занесен в мой личный паспорт, а полпредство выдавать ему отдельный отказалось. Юре было тогда всего тринадцать лет. Дали какое-то временное удостоверение на один проезд, и на него была поставлена польская транзитная виза, без права остановки в Польше.

— А как же мой сын вернется обратно? — спросила я в полпредстве.

— Там найдут кого-нибудь в Наркомторге, кто будет ехать за границу, и его к нему прицепят.

Выходило как-то очень неясно, и у меня мельнула даже мысль, что, может быть, моего сына обратно и не пустят.

Ясно помню теплый, летний вечер, довольное лицо Юры, улыбавшегося мне из окна вагона, а через одно купэ от него — лицо жены кино-режиссера Пудовкина, которая как раз за несколько дней до того заходила ко мне в бюро за справками и которую я очень просила присмотреть за Юрой в пути.

— Счастливого пути, Юрочка!

Когда задние огни последнего вагона скрылись в темноте, мне стало как-то странно пусто на миг в огромном Берлине. Я зашла на телеграф и сообщила мужу, что Юра выехал.

\* \* \*

На следующий день было воскресенье, и я была дома. В 10 часов утра моя хозяйка,

милая старенькая фрау Гофман, постучала в дверь моей комнаты:

— Вам телеграмма.

Я испугалась. Телеграмма сама по себе вызывает во мне — да я думаю, и во многих — чувство какого-то страха, чего-то неизбежно-неприятного. А тут я сразу же поняла, что с Юрой что-то случилось.

В телеграмме стояло: „Остался Варшаве. Юра“.

Мысли завертелись вихрем в голове. Вот те раз! Остался в Варшаве! Очевидно, отстал от поезда? Вещи уехали дальше без него. Денег у него с собой, как кот наплакал. Что же теперь будет!

По совету хозяйки я вызвала по телефону из ближайшего ресторана — тут я особенно оценила прогресс современной культуры — начальника варшавского вокзала и, хотя упрямый поляк делал вид, что ни по-русски, ни по-немецки нечего не понимает, мне удалось добиться от него обещания, что он сделает все от него зависящее, чтобы помочь моему сыну.

В тот год в Варшаве, судя по газетам, как раз накрыли какую-то шайку, воровавшую подростков, и поэтому мне в голову полезли самые фантастические мысли. А вдруг на вокзале к Юре подойдет один из агентов такой шайки, сделает вид, что принимает в нем участие, а потом заведет его куда-нибудь, и мне даже следов его не найти! Словом, любая мать поймет мое тогдашнее положение. Два дня я была ни жива, ни мертва, и только на третий

вдохнула свободно, когда пришла телеграмма от мужа о благополучном прибытии Юры в Москву.

С Юрой, по его рассказам, произошло следующее: несмотря на мои предостережения, он все-таки умудрился выйти на вокзал выпить содовой воды. Правда, он предварительно справился у проводника, сколько минут будет стоять поезд, но когда он вернулся, поезда уже не было, так как оказалось, что он запаздывает и поэтому простоял меньше обычного. Даже у взрослого, при подобном происшествии, начинает сосать под ложечкой и он чувствует себя прескверно. Могу себе представить, как испугался Юра. Некоторое время он застыл на месте от неожиданности, но потом сообразил послать мне телеграмму и пошел заявить о своем опоздании дежурному по станции, прося его телеграфировать на границу, чтобы там задержали его багаж. Там же он справился, когда идет следующий поезд Берлин-Москва. Ему ответили, что на следующее утро, в 8 ч. 30 м. Видя, что перед ним целые сутки времени, он совершенно резонно решил осмотреть город. Побродив немного вокруг вокзала, от которого, однако, особенно удалаться боялся, он набрел на какую-то захудалую гостиницу, и так как от перепуга чувствовал себя усталым, начал переговоры со швейцаром, где бы ему поспать. В виду того, что денег у него было мало, а комната стоила дорого, швейцар (оказавшийся тоже русским) разрешил ему прикурнуть тут же в швейцарской на диванчике. Когда Юра проснулся, смеркалось, и он решил, что это уже

утро и что ему надо бежать на вокзал. Уплатил швейцару и пошел. Спросив, на какую платформу приходит поезд, он стал ходить по ней взад и вперед. Вдруг перед ним вырос польский жандарм и спросил его не тот ли он мальчик, который отстал от поезда. На утвердительный его ответ жандарм заграбастал Юру и повел его в комендатуру.

Начальник строго на него воззрился.

— Это вы бежали от своих родителей?

Юра стал объяснять, что это недоразумение, что он ехал с согласия родителей, но начальник стоял на своем, говорил, что-де мать звонила из Берлина и что, одним словом, решено отправить Юру в Берлин.

— Кстати, через полчаса идет поезд.

Юра удивился.

— Как, разве это поезд на Берлин? А мне сказали, что в 8.30 отправляется поезд на Москву.

Да, в 8.30 утра, а в 8.30 вечера — на Берлин.

Оказалось, что, проспав день и проснувшись в сумерках, Юра решил, что проспал также и ночь, и поэтому чуть-чуть не попал в обратный поезд. Теперь ему хотелось как можно скорее „смыться“ из комендатуры, и он сказал, что идет посмотреть — не пришел ли поезд.

Выйдя на перрон, он постарался незаметно пробраться к выходу и вышел на улицу, а потом добрался и до своего диванчика в швейцарской. Денег у него оставалось мало, но швейцар вошел в его бедственное положение и позволил ему переночевать. Половину ночи

какие-то подозрительные типы дулись в той же швейцарской в карты, а под утро Юра, наконец, уснул. В 8.20 утра он отбыл благополучно, причем носильщик, который накануне давал ему справку, сообщил ему, что багаж его задержан на польской пограничной станции Столбцах. Поезд в Столбцах стоит недолго, так что я до сих пор диву даюсь, как это тринадцатилетний мальчик успел сбегать за этот короткий промежуток времени на станцию, объяснить в чем дело, получить чемоданы и втащить их в вагон. Юра рассказывал, что последний чемодан он уже втаскивал на ходу, когда поезд начал медленно двигаться.

Жена Пудовкина, которая приехала в Москву на сутки раньше Юры и которая не заметила его внезапного исчезновения, не могла никак успокоить встревоженного Ивана Лукьяновича, когда тот, получив мою телеграмму о том, что Юра устроил в Варшаве и чтобы он навел справки у Пудовкиной, разыскал ее по телефонной книге где-то в Замоскворечьи. Ей и в голову не пришло во время пути хоть раз заглянуть в соседнее купе.

Через полтора месяца каникулы кончились, но я никак не могла добиться, чтобы Юра вернулся в Берлин. Между мужем и мной велась по этому поводу частая и энергичная переписка; он чуть ли не ежедневно обивал пороги Наркомвнешторга, я, в свою очередь, теребила местком, но как-то все получалось так, что выезжавшие из Москвы за границу служащие или не хотели, или не могли взять Юру на свой паспорт.

Время шло, мы все нервничали, из немецкой школы присылались запросы и напоминания, а Юры все не было. Наконец, путем всяких ухищрений и лазеек, мужу удалось познакомиться с отъезжавшей в Берлин новоназначенной стенографисткой. Ей было обещано, что Юра, который уже был за границей, сможет в дороге ей быть очень полезным, что я в торгпредстве тоже у нее не останусь в долгу. В начале октября, с большим запозданием, Юра вернулся, наконец, в Берлин. В Советской России всякое мероприятие, каким бы незначительным оно ни было, стоит и нервов, и денег, и хлопот. Поэтому мой отпуск и каникулы сына, при которых к тому же надо было переезжать через две границы и получать разные визы, обошлись во всех смыслах очень дорого.

## ТОВАРИЩ ЖИТКОВ

Вернувшись из отпуска и отправив Юру к отцу, я в назначенный день приступила к исполнению своих обязанностей в бюро информации. Входя в первый раз в свою служебную комнатку, я думала: кого-то мне теперь пошлет ГПУ в наблюдатели? Антонов давно уже был откомандирован в Москву, Радвани посвятил себя всецело Рабочей Коммунистической Академии, которую Коминтерн открыл в Берлине, так что я перед отъездом в отпуск знала, что после возвращения найду нового соседа.



И действительно, за столом против меня сидел сравнительно молодой человек, лет тридцати, с иголки одетый в новый костюм, с шикарным галстуком и даже при манжетах. Я поздоровалась и назвала себя. Он встал с аффективно-дружески протянутой рукой, обошел вокруг стола и стал здороваться со мной так, как будто бы мы были уже лет десять знакомы.

— Тамара Владимировна, очень приятно, что вы, наконец, приехали. Позвольте представиться — Житков, можете называть меня просто Жоржем.

— Ну, это неудобно, скажите ваше имя и отчество.

— Нет, нет, что вы, какие официально-сти! Меня все называют Жоржем, почему же вы будете исключением!

— Ну, раз вы настаиваете...

— Ха-ха-ха, конечно, настаиваю. Так сразу как-то сердечнее выходит. Ну, как вы, Тамара Владимировна, с'ездили? Хорошо в Москве, небось? Тут рассказывают всякие контр-революционеры, что там, якобы, в связи с коллективизацией голод начинается, но это, конечно, вздор, у нас — да голод? Мы — самая богатая страна в мире. Не так ли, Тамара Владимировна? Тяжело было уезжать из Москвы, правда? Я, знаете ли, ужасно не хотел ехать на заграничную работу, но меня партия послала. Настаивали во-как: поезжай, Житков, да поезжай. Ты нам там нужен. Уж я отбрыкивался, как мог, а они все как насели... Ну, пришлось ехать.

— Вы давно уже в Берлине?

— Да скоро три недели. Народу тут много приходило, все вас спрашивали, за справками, ну, я им тут справки давал.

— Как же вы давали, ведь вы правил не знаете?

— Не беда. Они тут все спрашивают — можно ли везти в СССР то или это? Ну, я им все разрешал. Вези, говорю, браток, ни черта не будет.

— А если у него на границе отберут?

— Ну так что же! Ха-ха-ха, не важно. Таможне больше останется. Дамочки тут тоже всякие приходили, немецкие. Ну, а я по немецки плоховато, то-есть в Москве проходили курсы, но только с грамматикой у меня совсем швах. Ну, так я больше все глазами, да жёстами с ними разговаривал. Ничего, понимали.

— А откуда вы знаете, что меня зовут Тамара Владимировна?

Житков захохотал.

— Да как же не знать, я все знаю: и как вас звать, и где вы живете, и когда вы вернулись. Это хорошо, что вы сына-то в Москву отправили, пусть парнишка не отвыкает от советской страны.

С водворением Житкова в моей комнате работать по настоящему стало чрезвычайно трудно. Это был исключительно веселый, говорливый и абсолютно не желавший работать человек. Мне не было ясно, зачем, собственно, партия отправила его за границу. Он работал до того в ЦК ВКП (б), т. е. в Центральном Комитете Всесоюзной Коммунистической Пар-

тии, имел две комнаты в бывшей Лоскутной гостинице, в самом центре Москвы. Не хочется мне на этих страницах распространяться о всем известном и много раз описанном жилищном кризисе в Советской России вообще, а в Москве—в частности. Найти комнату в Москве считается большой удачей и стоит крупных денег, ибо надо прежде всего дать отступного, а затем платить рублей 300 в месяц. Часто бывает, что в одной комнате живут две семьи. Потому легло себе представить, что за птица был Житков и какую роль он играл в ГПУ, если ему—одинокому—были предоставлены две комнаты и если платил он при этом всего навсего 23 рубля 75 копеек в месяц.

До командировки его за границу Житков учился в московском университете. Что он там делал—осталось, в сущности, невыясненным.

— Вы кончили университет?

— Еще бы не кончить! Конечно, кончил. Ведь я имею звание юриста. Конечно, сами знаете, что учиться эти годы не так-то было легко: работа в ЦК, разные партийные нагрузки, частые выезды в провинцию. Но ничего, я знаете, всегда с собой револьвер на экзамены брал. Как профессор начнет спрашивать что-нибудь, чего я не знаю—я сейчас делаю вид, что за платком носовым в карман лезу, а потом, как бы невзначай, достану револьвер и положу на стол. И, знаете, Тамара Владимировна, ни разу не сорвалось. Как посмотрит профессор на револьвер этот самый, так покраснеет, побелеет, да и говорит: „Давайте

товарищ Житков, вашу зачетную книжку". Ну и отметит, что экзамен сдан.

Я пробовала возражать.

— Но ведь если вы университет кончили, все вас считают очень знающим; но вдруг придется применить знания на деле, а вы и понятия по данному вопросу не имеете. Небось, жалеете теперь, что так халатно относились?

— А чего жалеть-то? То, что мне надо, я отлично знаю. А сколько там дребедени преподают, что же, все так и надо учить, по вашему?

Житков принадлежал к категории опасных коммунистов. Ибо имел располагающую внешность и обладал удивительной способностью быстро дружить с людьми. Попервоначально даже человек наблюдательный почти всегда в нем обманывался. Его можно свободно было принять за рубаху-пария, за добрейшей души человека. В самом начале революции он работал молодым парнишкой в качестве почтово-телеграфного чиновника на одной из захолустных железнодорожных приволжских станций. Когда он рассказывал об этом времени, мне, глядя на него, почему-то вспоминались слова из всем знакомой песни:

„Бывало шапку наденешь на затылок,  
Пойдешь гулять ты в ночь, а поутру  
Чубчик, чубчик, чубчик так и вьется,  
Так и вьется чубчик по ветру“.

У Житкова были русые волосы, серые, ласковые, немного лукавые глаза и широкая

русская улыбка. Женщины перед ним так и таяли. Особенно немки. Постепенно, день за днем рассказывая мне во время службы всякие случаи из своей жизни, Житков, как бы между прочим, поведал мне о том, как он принимал участие в подавлении восстания в Поволжья. При этом, тяжелая, кровавая сторона вопроса, моральные переживания — его совершенно не интересовали. Его натуре был не чужд романтизм, и было странно, как романтизм этот сочетался в нем с большой, почти бессознательной жестокостью.

— Девица там у меня была одна в селе, красавица, я вам скажу. Все на нее заглядывались. Глаза синие с поволокой, косы до колен, ссанка, поступь, как у павы. И вот это рано на рассвете будят меня товарищи — тревога, оказывается, надо выступать на усмирение. Ну, я это в два счета оделся, шинель накинул, папаху — а красивая у меня, Тамара Владимировна, была папаха, с красным дном. Вскочил на коня, все товарищи вокруг тоже на конях. Только вспомнил — а как же кралято моя останется, надо попрощаться. Ну, ребята, подождите минутку. Коня кругом, да галопом. Под'езжаю к ее домику, а она на крыльечке стоит и руки ко мне простирает. Я это с коня прямо наклонился к ней, поцеловал ее в алые уста, шашкой махнул и айда — помчался. Она как вскрикнет, да в обморок.

— Ну, а вы что же, подняли ее?

— Куды тебе! Я уже мчался с товарищами, и то уж смеяться начали...

— А потом вы ее видели?

— Нет, нас в другое село переправили, так мы туда и не вернулись.

— А восстание, что же, подавили?

— А как же—чтобы я, да не подавил!

В такие минуты в его обычно спокойных глазах вспыхивал какой-то странный жесткий огонек, и я начинала понимать, что не зря он имеет две комнаты в Лоскутной и не зря он был секретарем одного из отделов ЦК партии. Много крови, вероятно, пролил на своем веку. И какой крови, своей же крестьянской, русской...

Чем же, собственно говоря, занимался Житков в торгпредстве и за что получал 800 марок в месяц? Он числился экономистом, но за все время его пребывания в Берлине я ни разу не видела, чтобы он работал. Приходил на службу всегда с запозданием, и ему это сходило с рук, тогда как обыкновенные служащие должны были штемпелевать свой приход и уход на контрольных часах. Садился против меня и раскрывал „Правду“. По поводу каждой более или менее значительной заметки он затевал со мной разговоры, затем переходил на рассказы из личной жизни, причем я иногда ловила себя на том, что чуть не проговорилась каким-нибудь неосторожным намеком, словом или просто жестом относительно моих политических убеждений. Лично для меня Житков был опаснее и Антонова, и Радвани, так как те все-таки не так много болтали и мне не надо было их остерегаться. А Житков, под личиной доброго малого и рубахи-парня, отличался большой наблюдательностью и сле-

дил за моими ответами по телефону, за моими интонациями при разговорах с посетителями, за моим отношением к его рассказам. Я отлично отдавала себе отчет в том, что Житков посажен ко мне не спроста и что от его отзыва в ячейке зависит срок моего пребывания за границей. Следовательно, мне приходилось быть всегда на чеку.

Так, в чтении „Правды“ и в разговорах со мной — причем я старалась отделяться междометиями (работы у меня было всегда очень много) — проходило время до обеда. Наступал обеденный перерыв, после чего Житков исчезал неизвестно куда и появлялся только к концу занятий. Один или два раза Андерс, как заведующий отделом, попытался дать Житкову какую-то работу, и на его столе на некоторое время появился какой-то немецкий экономический журнал, из которого он должен был сделать выписки и составить конъюнктурный отчет данного рынка. Увы, этот журнал так и остался нетронутым, но это задание дало Житкову повод отмахиваться от часто заходившего к нему его товарища Ежкова и заявлять с деланной досадой:

— Да что ты, парень, не видишь, что-ли? У меня серьезная работа, надо сосредоточиться, а ты лезешь...

Пораженный и недоумевающий, Ежков пробовал узнать, в чем именно заключается эта важная работа, но Житков затыкал уши пальцами и углублялся в журнал. Ежкову не оставалось ничего другого, как покидать со священным трепетом нашу комнату.

Но так как Житков еще очень плохо знал немецкий язык, то, конечно, немецкий журнал был ему не под силу. Когда через две-три недели Андерс зашел и спросил:

— Ну, что, товарищ Житков, кончил ты отчет?

Житков, ни мало не смутившись, ответил, что он составляет таблицы и что скоро все будет сделано. Однако, отчет так никогда готов и не был.

Как-то Житков вернулся из своей всегдашней послеобеденной экскурсии по зданию торгпредства и заявил:

— Может быть, скоро уйду от вас, Тамара Владимировна, предлагают мне должность заместителя заведующего Кожэкспорта.

— Поздравляю, Георгий Порфирьевич (я все-таки предпочитала величать Житкова по имени и отчеству), с повышением. Начинаете делать карьеру?

Житков мрачно вздохнул.

— Ведь меня, собственно говоря, стажером сюда назначили, а потом я должен стать экономистом. Не хочется мне, откровенно говоря, итти на должность замзава — работы много, ответственности. Я сказал, что еще подумаю. Уж больно ячейка настаивает.

Но через несколько дней на мой вопрос, когда же он уходит в Кожэкспорт, Житков ответил:

— Никуда я отсюда не пойду. Я к тому же болен, ведь у меня туберкулез в третьей стадии. Что, вы не знали? Мне в санаторию придется ехать, а не наваливать на себя такую беспокойную работу.



## НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ СОЦСТРАХА

Итак, Житков стал хлопотать о том, чтобы его послали в санаторий. Хлопоты эти отнимали у него больше половины рабочего дня, потому что получить бесплатную путевку, даже будучи в Москве, очень трудно, а за границей и подавно. Но Житков принадлежал к привилегированному сословию — ибо в СССР сословия *существуют*, и разница между ними тем чувствительнее, что она касается и желудка, и здоровья, и самой жизни. Житкову все это давалось сравнительно легко. И все-таки, пока он прошел врачебную комиссию и несколько осмотров и анализов, пока затем его посылку в санаторий санкционировала особая партийная комиссия, которая выдает коммунистам денежные пособия из особых фондов, Житков потерял еще несколько фунтов весу и ходил совсем уже зеленый.

В торгпредстве была своя амбулатория, которой заведывала докторша Зелтынь, старая партийка и жена члена совета торгпредства. В СССР на должность главного врача крупного учреждения обычно назначается врач-коммунист и, притом, обладающий известными дипломатическими способностями, ибо должность эта весьма ответственна и требует больших талантов. Так, до самого последнего времени кремлевской больницей, например, заведывал врач-коммунист Тайц, хотя работало в ней и несколько первоклассных профессоров старого времени. Главному врачу надо быть всегда на чеку, знать роль и степень влияния всех лус-

жащих и уметь лавировать между рифами партийной склоки.

Как известно, фонды советского соцстраха образуются из процентных отчислений от зарплаты, вносимых самим государством. Само собою разумеется, что так как за границей зарплата служащим выплачивается в иностранной валюте, — то и соцстрах получает пропорционально несравненно большие отчисления, чем внутри СССР. Образуется очень аппетитный общественный пирог, к которому в первую голову протягивают лапы те, кто держит в этих же лапах власть. Советская власть старается, как правило, использовать фонды соцстраха прежде всего для своих коммунистов, на остальное население ей более или менее плевать. Коммунисты же, в свою очередь, не рассматривают эти фонды, как достояние всего народа, с которым надо обращаться бережно, а действуют нахрапом: хватай кто что может! Не жалей казенного добра!

Таким образом, коммунисты снимают сливки соцстраха, а беспартийным остаются только рожки да ножки. Беспартийных, внушающих подозрения в болезненности, вообще даже и не командируют за границу, тогда как служащие коммунисты — почти все, как на подбор, либо больны какой-нибудь серьезной болезнью, как, например, Житков, либо являются полными калеками. Когда я приехала в Берлин, в маленькой каморке в передней торговца сидел чекист (фамилию забыла), у которого были парализованы обе ноги, так что он передвигался с большим трудом при

помощи костылей. Немного позже юрисконсультom торпредства был тоже полный калека.

Командировки больных коммунистов на заграничную работу объясняются в большей степени тем что за них почти всегда работают беспартийные. Значит, для дела большого ущерба быть не может, а партии необходимо подлечить за границей своих заслуженных членов. Здорового партийца можно встретить очень редко. Большинство из них замотано всякими партийными, общественными и другими нагрузками; что же касается чекистов, то у них почти у всех поголовно истрепаны нервы. Среди них очень много кокаинистов, морфинистов, алкоголиков. Это, впрочем, совсем не удивительно, если принять во внимание род их деятельности. Тот же Житков жаловался мне несколько раз:

— Опять, чорт его знает, что снится. Просто кошмары какие-то. Точно захожу это я в темную комнату, а из угла на меня отрубленная голова смотрит. . . И вся в крови, каким-то зеленоватым светом светится. Я от нее, а она за мной! Я хватаю за револьвер, ишу, ишу, а его нет. Проснулся весь в поту, отдышаться не могу. И ужас какой-то охватывает, прямо мочи нет.

Эта отрубленная голова преследовала его периодически. И странно — сон повторялся до мельчайших подробностей. Давали о себе знать отголоски усмирений и расстрелов.

Кроме того, на работе соцстраха сказыв-

вается и непомерно высокий процент служащих евреев, которые, как известно, особым здоровьем похвалиться не могут. Среди них особенно много туберкулезных. За последние годы в Советской России замечается большое количество смешанных браков, и дети от этих браков, где отец — еврей, а мать — русская или наоборот, оставляют желать лучшего: истерики, дегенераты, эпилептики и даже паралитики. И вот, командировается такая семья в Германию. Как только приезжают, начинают лечить своего ребенка. Часто болезнь неизлечима, но делаются самые разнообразные попытки, стоящие огромных денег. И опять-таки в большинстве эти евреи — крупные советские сановники и пользуются всеми благами соцстраха.

Как сейчас помню один случай. Я зачем-то зашла в амбулаторию. На одном из стульев сидела прилично одетая женщина и держала на руках прехорошенькую девочку. Лицо этой девочки и сейчас стоит передо мной, как живое: синие глазенки, ровные, точно нарисованные, бровки, алый ротик. Сначала я ничего не заметила, но через секунду девочка вся как-то сжалась, личико ее сморщилось, как бы от нестерпимой боли, а правая ручонка стала лихорадочно скрести лицо. Мать с силой удерживала ее руку. Потом опять наступило спокойствие, но через минуты две судорога повторилась.

Оказывается, у девочки паралич каких-то нервов: ей уже два года, но она не ходит, не говорит, ничего не понимает и не соображает,

и каждые две минуты ее тельце сотрясает эта ужасная судорога. Ее непрерывно нужно держать на руках, так как она раздирает себе в кровь лицо и может повредить себе глаза, ее надо кормить из соски, и только в те немногие часы, когда она засыпает, мать может немного отдохнуть. И при этом, такие прекрасные синие глаза и такая приветливая улыбка, что трудно поверить в эту страшную болезнь крови. Мать — русская, отец — еврей, занимает крупный пост.

Я встретила эту мать через несколько месяцев. Ее высохшее, измученное лицо без слов говорило о переживаемых страданиях. Я спросила: „Ну, а как ваша девочка?“

— Здесь в санатории лежит, но ничего не помогает. Теперь везем в Париж, говорят, там есть специалисты. . .

Глаза ее выражали надежду, но я потом спросила у знакомой докторши, которая временно замещала Зелтынь, что она думает об этом случае.

— Никакой надежды, но родители цепляются за соломинку, — ответила она.

Конечно, в русских деревнях, наверное, встречается много несчастных, больных детей. Их никто не везет за границу и никто не считает нужным тратить на неизлечимые случаи столь дорого достоящейся русскому народу драгоценной валюты. Наоборот, у мужика отбирают последнюю птицу, свинью, кожу, яйца, вывозят их за границу, а из вырученной валюты отчисляют проценты в фонд соцстраха. На фонды же эти долечиваются партийные и че-

кистские сифилитики, калеки и чахоточные, часто безнадежно больные, целой массой прущие за границу на легкие для них хлеба. Перегруженный же беспартийный русский человек не знает, как ему извернуться, чтобы какая-нибудь Зелтынь с усмешечкой, после получасового торга, подписала небольшой докторский счет.

\* \* \*

Вся деятельность Зелтынь протекала в каких-то недомолвках, перешептываниях, подмигиваниях, намеках, так что человека неискушенного в советских штучках, эта докторша могла обвести вокруг пальца, как хотела.

В первые годы моего пребывания в Берлине больные служащие торгпредства могли лечиться у какого угодно частного врача или дантиста, и соцстрах оплачивал их счета. При этом, от Зелтынь зависело — подписать ли тот или иной счет или не подписать. И тут играли огромную роль и связь, и протекция, и положение самого служащего.

Приходит, например, товарищ Подольский\*) и говорит:

— Слушай, Зелтынь, мне надо золотые коронки вставить, заплатишь?

— Ну, конечно, что за вопрос! Сколько?

— Да пустяки, что тут — каких-нибудь

---

\*) По сведениям, он недавно расстрелян в Москве.

800 марок. Видишь ли, оказалось, что для ко-ронок нужно еще и мост.

— Ладно, Подольский, для тебя можно.

И ловким движением Зелтынь подмахивает счет известного дантиста.

Или приедет заведующий Пушэкспортом из Лейпцига. От него ведь так много зависит! Он может отобрать самые лучшие каракулевые шкурки или серебристую лисицу из мехов, присланных для лейпцигского аукциона\*). Ну как не порадеть родному человечку?

— Здорово, Зелтынь, знаешь у моей жены что-то в груди неладно, сделали рентгеновские снимки, теперь надо лечить, но каждый сеанс будет стоить по 50 марок. Как ты думаешь?

Если в амбулатории в данный момент ждет кто-нибудь из беспартийных, Зелтынь подмигнет глазом и скажет:

— Ну, знаешь, это немного дороговато...

Однако, в окончательной версии Зелтынь, конечно, подписывала все такие счета. И в санатории посылала.

Например, такая сценка:

— Товарищ Бродзский, ты что-то плохо выглядишь, тебе надо отдохнуть. Не хочешь ли в санаторий поехать? Есть такой в Нейенарр, чудесный.

Бродзский был, как я уже говорила, срав-

---

\*) Последние годы большевики предпочитают продавать меха на собственном аукционе в Ленинграде.

нительно новичком по части большевицкого бедлама и поэтому еще стеснялся:

— Ну, как же я поеду, ведь это очень дорого стоит.

Но Зелтынь, как демон-искуситель, уговаривает:

— Да что ты, Бродзский, если мы таких ценных работников, как ты, беречь не будем, так что же будет? Сам знаешь, пролетариат своих героев ценит. Поезжай.

И едет Бродзский на шесть недель в Нейенарр, жалованье его остается нетронутым— все оплачивает соцстрах: и дорогу туда и обратно, и санаторий, и лечение.

А беспартийному остаются рожки да ножки. Я не могла бы говорить об этом с такой уверенностью, если бы не испытала этого на себе. Серьезно заболев, я принуждена была лечь в клинику, где день обходился не тридцать, а всего десять марок. Половина моего там пребывания ушла в страшной трепке нервов, так как соцстрах отказался за меня платить, а мне уже не хватало жалованья, в виду больших расходов на врачебную помощь. Юра должен был бегать в торгпредство с моими записками и, в конце концов, Зелтынь заплатила только половину. Это было в высшей степени несправедливо, вызывало у меня слезы возмущения и поднимало температуру, но поделать я ничего не могла.

Аналогичный случай был и с женой кассира Никитина. У нее была саркома печени. Никитин пролечил массу денег, с большими скандалами ему удалось вернуть некоторую



часть этих расходов, но под конец все же пришлось перевезти жену в университетскую клинику, а затем в клинику der Grauen Schwester в Тельтпельгофе, где содержание стоило дешево, но где она лежала в общей палате и уход был хуже. Если бы это была жена чехиста или партийца, ее положили бы в лучшую клинику и дали бы такие возможности лечения, что она, может быть, не умерла бы так скоро.

\* \* \*

К концу 1929 года торгпредский соцстрах окончательно обанкротился, так как истратил не только то, что ему полагалось, но и залез в крупные долги. Касса была пуста. Докторшу Зелтынь откомандировали в Москву, туда же поехали и двое соцстраховских служащих, ибо отчетность у них оказалась совершенно запутанной, и в результате один из них сел в ГПУ. В торгпредстве же началось междуцарствие. Не было врача и не было известно, как дальше будет с соцстрахом и с амбулаторией. Положение заболевавших было поистине критическим, так как медицинская помощь в Германии очень дорога.

Затем пришло соломоново решение из Москвы: договориться с какой-нибудь... германской страховой кассой и застраховать всех торгпредских и полпредских служащих в этой кассе. Условия были ничуть не хуже советских, только приходилось ждать полгода с мо-

мента подписания полиса. Но для нас, беспартийных, было лучше, так как теперь мы могли лечиться на равных началах с партийцами.

## ЛИЗХЕН И САН-БЛАЗИЕН

Хлопоты Житкова отнимали у него массу времени, и он пребывал в информационном бюро ровно столько, сколько требовалось, чтобы прочесть свежий номер „Правды“ и обменяться со мной самыми последними известиями с фронта его манипуляций по отъезду. Однажды он принес на службу измятый номер немецкой газеты „Локаль Анцейгер“, в которой, как известно, имеется самый обширный отдел объявлений. С хитрой усмешкой Житков пододвинул мне газету через стол.

— Прочтите, Тамара Владимировна, объявление, вон то, что отмечено красным карандашом.

Я прочла:

Junger Ausländer (Akademiker) sucht Bekanntschaft mit jungem deutschen Mädel zwecks Erlernung der deutschen Sprache\*).

Я вопросительно взглянула на Житкова. Он самодовольно засмеялся.

— Академикер — это я. И представьте

---

\*) Молодой иностранец (с высшим образованием) ищет знакомства с молодой немецкой девушкой с целью изучения немецкого языка.

себе, Тамара Владимировна, сколько писем получил! Целую уйму. Вот теперь выберу себе немочку — тогда в два счета научусь болтать по немецки.

— А вы не боитесь, что в ячейке узнают?

— Ну, как они могут узнать, вы же меня не выдадите... А другим я не скажу.

В его тоне прозвучала угроза: попробуй, мол, выдать..

Через несколько дней он действительно нашел какую-то немочку, Лизхен, которая была, по его словам, красавицей и которая даже согласилась ехать с ним туда, куда его пошлют в санаторий.

— Но, ведь если у вас туберкулез, вы должны быть особенно осторожным. Еще заразите молодую девушку. Подумайте, какой опасности вы ее подвергаете.

Житков цинично усмехнулся.

— Ну что ж, заражу, туда ей и дорога.

Я возмутилась.

— Послушайте, Георгий Порфирьевич, ведь если у вас нет человеческой этики, то должна же быть хоть какая-то партийная...

Житков удивился.

— Этика? Какая такая этика?

— Бросьте притворяться, ведь вы в университете учились, не может быть, чтобы вы не знали, что такое этика.

Житков встал и подошел к моему стулу:

— Знаете что, Тамара Владимировна, не будем здесь, в стране догнивающего капитализма, говорить об этике, да еще о партийной. Чем больше мы внесем в такую страну разло-

жения, тем скорее будет революция. И вообще бросьте вы эту скверную привычку мне мораль проповедывать. Интеллигентские сопли...

Я смолкла. Чем-то сатанинским пахло на меня от этих взглядов. Да, большевизм не только зло, это прямо исчадие ада. Раствление, развращение, полная деморализация — вот его спутники, куда-бы он ни проник. Мне стало страшно. Я должна как-то предупредить эту несчастную Лизхен, ведь она идет на верную гибель — туберкулез в третьей стадии крайне заразителен.

— Познакомьте меня с Лизхен, мне хочется на нее посмотреть.

— Она при родителях живет, и они очень у нее строгие. Я у них уже был, мамаша меня приняла с распростертыми объятиями. А знаете, Тамара Владимировна, — оживился вдруг Житков, — это действительно идея! Я вас попрошу позвонить к родителям Лизхен и сказать им, чтобы они не рассчитывали, что я на ней сейчас же женюсь, я должен сперва в Москву вернуться, а потом, когда устрою свои дела, тогда приеду опять в Берлин.

Я вскипела:

— Как, вы уже до того дошли, что обещали ей жениться? Но ведь вы же прекрасно знаете, что этого не может быть. И потом вы ведь сами говорите, что харкаете кровью и что у вас туберкулез в третьей стадии. Да и кто вас пустит во второй раз в Берлин!

Житков приосанился.

— А почему бы мне и не жениться на Лизхен? У меня в Москве две комнаты, все

удобства. Правда, моя Мария будет скандалы закатывать, да и партия косо посмотрит...

— А кто такая Мария?

— А есть там евреечка одна, влюблена в меня без памяти, я ее, кстати, сюда хочу выписать. Она тоже партийная, секретарь ком'ячейки в Губсоцстрахе. Вот приедет — посмотрите.

— А почему вы на ней не женитесь?

— На ком, на Марии? Да она замужем, и ребенок у ней есть.

— Как же она приедет, ведь вы скоро в санаторию едете?

— Ну, не так-то еще скоро, месяца, наверное, через три, а она — если партия ей только разрешит — недели через две может приехать. Я там нажал в Наркомвнешторге, она за жену мою приедет, ей и паспорт на мое имя выдадут.

Я сделала вид, что ничуть не удивляюсь такому ходу событий, но подумала: вот, ко мне законного мужа не пускают, а такому Житкову чужую жену разрешают выписать.

\* \* \*

Как-то, идя через Тиргартен, я встретила нежную парочку. Хлыщевато изогнувшись, Житков вел под руку какую-то девушку.

Лизхен была действительно очень красива. Изящная, гибкая фигурка, стройные, словно точеные, ножки, целая копна кудрявых каштановых волос, большие карие глаза, живые и очень выразительные, маленький ротик, легкая, грациозная походка.

— Тамара Владимировна, — заорал Житков еще издали, — вот удача! А я все хотел, чтобы вы с мсёй Лизхен познакомились. Вот, Лизхен, дас ист фрау Тамара, я тебе о ней уже говорил.

Лизхен подала мне руку с приветливой улыбкой.

Было уморительно слушать, как Житков из'яснялся с ней по немецки. Он носил с собой в кармане маленький словарь и поминутно выхватывал его и искал в нем нужное слово. Оба пошли меня провожать, и Житков с жаром стал рассказывать, как его обирает его новая хозяйка.

— Настоящая живодерка, право слово, живодерка, — говорил он по русски. — Как это перевести, Тамара Владимировна?

Я как-то не смогла подыскать подходящего слова. Житков полез в карман, достал словарь и после минутных поисков выпалил:

— Sie... die Haut... abnehmen.\*)

Дойдя до Бранденбургер Тор, я поспешила распрощаться. Мне было тяжело видеть, как доверчиво Лизхен смотрела на Житкова. В ее головке зрели несбыточные мечты о замужестве с „ученым иностранцем“, о жизни в далекой, такой великой стране, как Россия. О политике Лизхен, повидимому, не имела ни малейшего понятия. Сказать же Лизхен правду я при Житкове, конечно, не могла. Да и поверила ли бы мне Лизхен?

Житков продолжал свои ухаживания, причем добился у матери Лизхен разрешения, чтобы

---

\*) Буквальный перевод: она... кожу... сдирать...

ее отпускали по воскресеньям к нему, в Биркенвердер. Помешанный на своем здоровье, он жил теперь не в самом Берлине, а в тридцати километрах от него, в прекрасном хвойном лесу Биркенвердера.

Я старалась избегать разговоров о Лизхен, поскольку я не могла в этом случае помочь. Через несколько недель Житков привел в бюро какую-то маленькую еврейку и представил мне ее:

— Вот это Мария, познакомьтесь.

Если бы все это не происходило на моих глазах, я бы никогда не поверила, что Мария приехала в Берлин просто так, в отпуск, чтобы повидать своего возлюбленного Житкова. Слишком чудовищно было бы допустить, чтобы народные деньги, столь драгоценная для России валюта выбрасывалась таким уж черезчур наглым образом! Но это был факт. Мария, во первых, ни слова не говорила по немецки, а если ей нужно было об'ясниться в трамвае или подземке, оперировала ужасающей смесью русского языка и еврейского жаргона, а во вторых — она так и просидела все четыре недели в Биркенвердере. Житков, сославшись на ухудшение здоровья, навещал торгпредство лишь раза два в неделю, а у меня в том же доме были знакомые, наши беспартийные, и они мне рассказывали, что и Житков, и Мария почти безвыходно сидят у себя в комнате или на балконе. Было ясно, что никаких особых заданий она не имела.

— А как же Лизхен? — спросила я как-то Житкова.

— Я ей сказал, что у меня научная работа и что я должен целые дни над ней сидеть, а также чтобы она не приезжала в Биркенвердер, так как меня там не будет.

Когда Мария уехала обратно в Москву, Житков стал всерьез собираться в санаторий.

— Знаете, Тамара Владимировна, куда меня посылают?

— А куда?

— В Сан Блазиен. Это в Шварцвальде, две тысячи метров над уровнем моря. Там самый лучший санаторий для туберкулезных в Германии. Вот вылечусь — тогда заживу... Но дорого там... Тридцать марок в сутки только за комнату и пансион. И Лизхен возьму, она отдельно будет жить. Кстати, Тамара Владимировна, не можете ли вы позвонить ее мамаше?

— Хорошо, дайте мне ее номер.

Говорить с матерью Лизхен пришлось при Житкове, так что о туберкулезе я сказать ничего не смогла, но, во всяком случае, дала матери понять, что Житкова не следовало бы рассматривать, как жениха, и спросила не боится ли она отпускать свою дочь в такое далекое путешествие.

Но мать, пожилая добродушная и простоватая немка, верившая своей дочери и ее мудрости, сказала, что „ведь Лизхен будет жить отдельно“ и что она все же надеется, что „господин доктор“ не обидит ее Лизхен. А Лизхен, дескать, так хочется поехать, а такая возможность представляется не часто. Ведь Шварцвальд так далеко, и дорога туда стоит так дорого.



Я, с русской точки зрения, удивилась такому упрощенному взгляду на вещи, но потом, прожив в Германии некоторое время, узнала, что там это допускается.

Житков уехал, а через некоторое время я получила от него письмо с подробностями его пребывания в санатории. О Лизхен он упоминал смутно, а через недели три написал, что с ней поссорился и что она уехала обратно в Берлин. Как выяснилось значительно позже, Лизхен оказалась действительно мудрой и сумела раскусить истинные намерения „академикера“.

## ЧИСТКА

Прошло четыре месяца. Торгпредство жило своей лихорадочной, беспорядочной жизнью. Стоял сентябрь 1929 года. В Отделе Кадров истеричную Иоффе и флегматичного Сергеева уже давно сменил товарищ Евгеньев (конечно, псевдоним), и как всегда бывает после смены заведующего Отделом Кадров — многие служащие были откомандированы в Москву и заменены новыми. Житкова все еще не было, ему продлили первоначальный двухмесячный отпуск еще на два месяца. Во время его отсутствия против меня не сидел никто, и поэтому внутри-партийная жизнь торгпредских коммунистов как-то ускользала из сферы моего наблюдения. Житков все-таки иногда про-

говаривался о тех или иных партийных мероприятиях, а кроме того, он был так говорлив, что умело поставленным вопросом из него можно было кое-что выудить. Теперь же, когда его не было, у меня почти не было и информации. Работы по службе было, как всегда, очень много. И, однако, даже в постоянно сумасшедшем и нервном биении трогпредского маятника мой слух улавливал какие-то необычные перебои. Что то висело в воздухе, что-то надвигалось, что-то должно было произойти.

И вот, в одно ноябрьское утро в комнату вкатился Житков. Именно не вошел, а вкатился. Я в первый момент даже не узнала его, до того он растолстел. До санатория он был сравнительно стройным, теперь у него было круглое, выпячивавшееся вперед брюшко, а глаза заплыли жиром.

— Георгий Порфирьевич, вы ли это?

— А что, правда, чудесно поправился? Знаете, сколько кил нагнал? Двадцать три кило, не фунт изюму! Да, правду сказать, и кормили меня там на убой, никакой туберкулез не выдержит. Все затянуло, даже каверны мои зажили.

Потом внезапно Житков оглянулся на дверь, чтобы убедиться, что она плотно закрыта, и сказал шепотом:

— Не во время приехал — тут чистка идет. . .

Меня точно ознобом прохватило. Чистка?  
А Житков продолжал:

— Сам Ройзенман приехал. Бу-удет те-перь потеха!

Имя Ройзенмана было мне известно еще по рассказам московских коммунистов, работавших раньше за границей.

— Скажите, Георгий Порфирьевич, а нас, беспартийных, предупредят, в какой именно день будет чистка?

Житков посмотрел на меня удивленно.

— Как, вы даже не знаете, что беспартийных за границей не чистят? Только партийных будут чистить, а о беспартийных уж мы сами дадим сведения.

Если слово „чистка“ является жупелом в Советской России и наводит на всех страх и трепет, то насколько тяжелее воспринимается оно в советских учреждениях за границей!.. Ибо чем грозит чистка советскому служащему, например, в Москве?

Быть вычищенным, конечно, очень неприятно и в Москве, но, в конце концов, если вы ни в чем не виноваты, как это сплошь и рядом бывает, то вы в течение двух-трех месяцев останетесь без работы. И так как в СССР чистки проводятся периодически, подсоветские люди смотрят на них, как на более или менее неизбежное зло, которое, однако, ничем особенным грозить не может.

Не то — за границей. Недаром командировка в Европу или в Америку, считается в СССР большой удачей, почти счастьем. Люди иногда годами стремятся к тому, чтобы быть

командированными за границу, приносят многое в жертву, унижаются. . . Наконец, мечта осуществилась: вы в Берлине, Париже или Лондоне. Вы отдыхаете от советской действительности, ваш ежемесячный заработок превышает во много раз то, на что вы жили в Советской России. Мало по малу вы соприкасаетесь с культурой данной страны, вы входите во вкус, начинаете чувствовать себя человеком. Отработав свои часы в советской атмосфере торгпредства, вы выходите на улицу и забываете, что вы — раб, что вы — жалкая игрушка в руках всемогущего ГПУ. . . Пусть это иллюзия, но она дает вам отдых, она затягивает, она делает вас почти счастливым.

И вдруг чистка. Чистка! Не является ли это черезчур разительным диссонансом с тем, что вас окружает? Ведь вот кругом ходят совершенно свободные веселые люди. Какие они счастливые! Им ничто и никто не угрожает. Никто не вправе остановить их и начать спрашивать, кто был их отец, мать, с кем они переписываются и какого политического мнения они держатся. . . А вас? Вас завтра вызовут и в сотый раз начнут пытаться, зная совершенно ясно, что половина того, что вы скажете, будет ложью. Но самое ужасное впереди. Ибо, если вы окажетесь в числе вычищенных—а это очень легко может произойти,—вас безо всякой жалости вырвут вот из этой атмосферы и бросят обратно в великую человеческую тюрьму, называемую СССР. И в этом случае вы лишены будете возможности даже мечтать о загранице, ибо раз вычищен-

ного с заграничной работы за рубеж уже никогда больше не пошлют. А кроме того, вы совершенно не можете быть уверены в том, что, по прибытии на Негорелое, вас не отправят прямо в тюрьму, а потом и в ссылку. О самом же худшем лучше и не думать.

Понятно поэтому то тревожное и напряженное настроение, которое охватило берлинское торгпредство, когда весть о чистке с быстротой электрического тока облетела все учреждение.

Чистки в советских учреждениях за границей происходят редко, и тогда, осенью 1929 года, мне пришлось пережить одну из самых серьезных чисток, после которой политбюро СССР вынесло, по докладу главноуполномоченного по чистке Ройзенмана, следующее постановление: „Признать аппарат заграничных торгпредств разложившимся и подлежащим полной смене“. Легко можно себе представить, какому разгрому подвергло ГПУ в последующие полгода берлинское и другие торгпредства! Подобно кругам, разбегающимся от брошенного в воду камня, эта чистка давала себя чувствовать не только в 1930, но еще и в 1931 году, когда была откомандирована и пишущая эти строки. Полетел торгпред Бегге, полетел его первый советник и помощник Ленгиель, а за ними и остальные видные и не видные служащие. Это были тяжелые, угрюмые месяцы. . . Работа велась кое-как. Мы, беспартийные, если и боялись, то все же меньше, чем коммунисты, так как знали, что нас и спрашивать-то не будут. Но коммунисты

ходили, как в воду опущенные — у каждого рыльце было более или менее в пушку, каждый знал, что работал из рук вон плохо, что позволял себе вещи, за которые по головке не поглядят. Для них создавалась атмосфера вроде той, которую описывает Беседовский в своей книге „Oui, j'accuse!“. Ибо из Берлина Ройзенман перебрался в Париж, и именно в эту достопамятную осень Беседовский сбегал через забор на улице Гренель.

„Последние дни в полпредстве были настоящим адом. Я был окружен агентами ГПУ, как секретными, так и официальными. За каждым моим движением, за каждым моим словом велась слежка. Часто я слышал подозрительные шорохи в маленьком коридоре, смежном с моей библиотекой. Однажды я выскочил туда и выстрелил в потолок — кто-то бросился удирать. Если бы это продолжалось еще неделю — я бы потерял рассудок. Я изрешетил весь потолок пулями. . .“ (стр. 253 и 254 „Oui, j'accuse!“).

Вот какое настроение было у высших коммунистов в связи с предстоявшим приездом страшного „евнухообразного“ (как его рисует тот же Беседовский) Ройзенмана. Им мерещились шумы, даже там, где, может быть, ничего и не было. Недавние показания новых советских невозвращенцев — Бармина (Граффа) и Кривитского (Вальтера) — рисуют ту же картину страха и ужаса, охватывающих представителей „правлящего класса“ Советской России, при приближении рокового часа расплаты.

\*  
\* \*

Не особенно веселым ходил и Житков, даже балагурить перестал. К нему то и дело забегали его приятели по ком'ячейке, шушукались, вызывали его в корридор. Как и всегда в периоды чистки, сводились личные счеты, стряпались доносы; ложь и клевета незримыми потоками разливались по торгпредству и образовывали зловонные лужи. . . Но официально никто о чистке не сообщал и никто из беспартийных не должен был подавать вида, что о ней знает. Чтобы, не дай Бог, весть об этом избиении младенцев не выскользнула бы за стены торгпредства и не докатилась бы, скажем, до гостеприимных страниц „Руля“. Обвинили бы в предательстве, конечно, беспартийных, на которых обычно все шишки валяются, и поехало бы из них несколько человек через Негорелое без пересадки до самых Соловков!

Чистка происходила не только по вечерам, как того следовало бы ожидать, но целый день. Где-то в глубинах ком'ячейки сидел страшный судья Ройзенман и приехавшая с ним „комиссия по чистке“. Партийцев, судя по некоторым случайно прорвавшимся словам Житкова, чистили долго и вдумчиво—этак часика по три-четыре. Впрочем, при этом задавались вопросы не только о них самих, но и о тех, за кем им надлежало следить. Беспартийных, как Житков и сказал, действительно, в комиссию по чистке не вызывали. De jure дело обстояло так, как будто бы беспартий

ных и чистить то совершенно не собираются. De facto же при каждом беспартийном был свой наблюдатель, и от него зависело дать наблюдаемому ту или иную характеристику. Я, в данном случае, зависела, очевидно, как от Житкова, так, и от Бродзского. Остальные коммунисты, с которыми я ближе всего по службе соприкасалась, были все немецкими подданными и, следовательно, в счет не шли.

В те годы Берлин был центром советской деятельности для всей Европы не только символически, но и официально. В нем сосредотачивались как торговые, так и политические нити плетущейся Коминтерном паутины. Дипкурьеры отправлялись в Москву с целыми сундуками донесений и зашифрованных сведений и возвращались с такими же сундуками инструкций по всем отраслям коминтерновского и наркомторговского аппаратов. Штат торгпредства явно был неестественно разбухшим, ибо создавались специальные синекуры для тайных агентов коминтерна и для просто шпионов. Под видом инженеров, техников, приемщиков по Германии и по остальным странам Европы, расплзалась целая армия политических и экономических шпионов и агитаторов. Мне, находившейся по роду службы в центре торгпредской жизни и обязанной знать о новых сотрудниках, равно как и о всех тех, кто откомандировывался в СССР или в другие страны, было особенно заметно непрерывное движение „людей из Москвы“ на Запад.

Ройзенмановская чистка пронеслась, как



гроза, и, действительно... расчистила горизонты. Очевидно, вскрылись настоящие гнойники как в ведении отчетности, так и в ведении финансовых дел вообще, ибо с зимы 1930 года началось сворачивание торгпредских функций и перенос всей бухгалтерии в Москву. Если раньше все договоры заключались и подписывались в Берлине, теперь стало известным, что скоро придется иностранцам ездить в Москву для подписания этих договоров, что в действительности и было полностью реализовано к 1932-33 му году. Очевидно, у большевиков были, кроме того, кое-какие сведения о надвигающемся триумфе Адольфа Гитлера и национал-социализма, так что к 1933 му году в берлинском торгпредстве из полутора тысяч служащих осталась лишь жалкая горсточка, которая, как я уже говорила в начале этих очерков, принуждена была оставить великолепное, столь импонировавшее иностранцам, здание на Линденштрассе и перебраться на Литценбургенштрассе в неизмеримо более скромное помещение. К 1933-му году весь центр европейской акции большевиков был перенесен в Париж. Целые отделы торгпредства были свернуты и переправлены в Москву, даже такой трудный для транспортирования отдел, каким был Голлеритный, отправился туда же. Этот отдел, названный по имени изобретателя поистине чудесных статистических машин — Голлерита, считался тоже секретным и вход туда посторонним лицам строго запрещался.

Я чувствовала себя в этом вихре, пронесившемся вокруг меня, как песчинка в смерче

Сахары... И положились всецело на свою судьбу.

Как-то Житков, сидя против меня, по обыкновению своему читал „Правду“. Его не могли смутить никакие чистки. Он всегда оставался верен самому себе и своей баснословной лени. Вдруг он поднял голову.

— Что ж, Тамара Владимировна, распрощаемся скоро с вами?

Для меня это было почти неожиданностью, и я удивленно на него взглянула.

— А что, Георгий Порфирьевич, разве вас откомандировывают?

Но еще не было случая в моей торгпредской практике, чтобы коммунист сознался в том, что он уезжает в СССР не по своей воле.

— Да, так, знаете, Тамара Владимировна, надоело мне тут. Хочется уже в Москву. Вот и Ежков уезжает, а мы с ним приятели, одному-то тут тоже неохота оставаться.

— Но ведь вам тут хорошо живется, работы немного, смотрите, как вы тут поправились... И потом разве вам не жаль Лизхен?

— Что там Лизхен, я в Сан Блазиен уже с другой познакомился, дочь богатого фабриканта, спит и видит, как бы за меня замуж выйти...

И, взобравшись на своего конька, Житков стал рассказывать со всеми возможными подробностями о своем новом романе в Сан-Блазиен.

— А как ко мне чудесно там все отнеслись, вы бы только посмотрели, Тамара Владимировна. Главный врач только все спрашивал: „По вкусу ли это вам, господин доктор?“

или: „Не имеете ли вы каких-нибудь желаний, господин доктор?“. Они меня там все за важного барина принимали. Да, уж пожил я там всласть, нечего сказать.

— Ну вот, а вы в Москву хотите ехать. Но иногда Житкова не так-то легко было поймать.

— Соскучился я, знаете, по Москве, дом мой тянет.

Я сделала вид, что поверила.

— Когда же вы едете?

— Да не позже, чем через неделю.

— Чего же так торопиться? Дождитесь хоть весны.

— Нет, Тамара Владимировна, я уже четыре костюма себе заказал про запас. Проводить меня придете, а?

— Постараюсь. Да ведь, наверное, и я скоро поеду — в Москве встретимся.

— Ну, вас еще не так скоро отправят. Сказать вам, что ли?

И Житков лукаво улыбнулся.

— А что такое?

— Да ведь меня на чистке о вас спрашивали. Говорят: „Что это за особа такая сидит, беспартийная, а на такой ответственной работе? Как она там, не саботирует ли?“

— Ну, а вы что ответили?

Сердце мое на мгновение замерло. Скажет ли он правду?

Но Житкову хотелось, видимо, меня помучить.

— А вот угадайте, что я сказал?

— Ну, не томите, Георгий Порфирьевич, скажите уж...

— Ну, ладно, так и быть. Я им сказал: „Хоть она и беспартийная, но очень много чего знает, на разных языках объясняется и информацию прекрасно наладила. А плохого ничего я за ней не замечал“. Думаю, что теперь вас пока не откомандируют. Хоть и проводится коммунизация аппарата. Вот он, Житков-то, какой, а вы, небось, думали — я о вас плохое что скажу?

— Ну, спасибо вам, Георгий Порфирьевич, за хороший отзыв.

— То то вот и оно, я человек справедливый, зря оговаривать никого не стану.

Через неделю Житков, конечно, не уехал, а, выражаясь блатным языком, который в Советской России получил полные права гражданства, стал „шиться“. То-есть, начал придумывать всевозможные предлоги, чтобы как-нибудь оттянуть время отъезда. Сперва слег на несколько дней в постель и сказал, что плохо себя чувствует, затем придумал себе какую-то срочную партийную нагрузку, так что в Москву он уехал, как и следовало ожидать, лишь в начале весны. Я его в этом отнюдь не осуждаю. Все подсоветские, которые знают, что должны покинуть свободную, сытую и культурную Европу, стремятся всеми силами оттянуть день отъезда до самого крайнего предела, подобно человеку, которому предстоит броситься в пропасть. Но оттяжка эта возможна лишь при наличии более или менее незапятнанной репутации. С теми же, кто действи-

тельно провинился в чем-нибудь серьезном, или кого подозревают в том, что он хочет стать невозвращенцем, — большевики совершенно не церемонятся. Бывали случаи, когда человек должен был выехать в течение буквально двадцати четырех часов.

Позже, вернувшись в Москву, я несколько раз встречала Житкова. Он все еще нигде не работал, а поступил учиться в Институт Внешней Торговли.

— Вот кончу, стану специалистом и тогда опять получу назначение за границу, — говорил он мечтательно. — Тогда уж меня так скоро оттуда не выживут.

Я из деликатности сделала вид, что не помню его речей в момент откомандирования из Берлина о том, что он, дескать, уезжает по собственному желанию.

Нужно отдать Житкову справедливость, он старался все-таки рассказывать своим знакомым и друзьям правду о Германии. И во-сторгался при этом чистотой, порядком и... трудолюбием немцев. Грязь и беспорядок советской жизни вдруг стали его шокировать, так что он несколько раз даже призывал товарищей к порядку. Стал в своем роде даже неким культуртрегером.

— Иду это я, Тамара Владимировна, по Тверской, а навстречу мне Митька Железнов — знаете, мой приятель. И — подлец — кепку-то козырьком назад надел. Ну, просто похабная рожа получается. Я это остановился, поглядел на него, плюнул, да как нахлобучу ему кепку, как следует, на башку. Говорю, что же ты это,

сукин сын, порядку что-ли не знаешь? Ты бы в Германии так надел, тебя бы враз заарестовали...

## КЛУБ „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“

В самом центре ночного Берлина, у Потсдамер-Платц, там, где яркими огнями то загорается, то потухает сверкающая лампами куполообразная крыша огромного ресторана Кемпинского, за углом Дессауэрштрассе, на воротах дома № 2 еще до самого последнего времени красовалась скромная дощечка „Klub Roter Stern“. А тот, кто, отворив калитку, входил во двор, попадал сразу в кроваво-красные лучи большой багровой звезды, гостеприимно сиявшей над входом в клуб советской колонии в Берлине.

Если сейчас правая французская печать то и дело жалуется на то, что Париж становится мало по малу „советской колонией“, и не видит никакого выхода из этого, то людям, жившим в Берлине в 1930-31-32 годах, — становится как-то смешно. Ибо советская власть и Коминтерн — до самого прихода Гитлера к власти — рассматривали Германию вообще, а Берлин — в частности, своим Hinterland'ом. Еще бы было им не считать? Ведь КПД — коммунистическая партия Германии — насчитывала к тому времени около 400.000 членов, а за Тельмана было подано почти 6.000.000 голо-

сов. Уличные коммунистические демонстрации собирали в Лустгартене до 100.000 участников, и коммунисты открыто и почти безнаказанно убивали на улицах и в пивнушках своих политических врагов. Большевики были так уверены в Германии, что в самом центре Берлина сняли на целые десять лет, по договору, трехэтажное здание под клуб советской колонии, причем в этом клубе сформировался и регулярно работал красный пионерский отряд, хотя официально советчики на это никакого права не имели. Десятилетний контракт при наемной плате в 111.000 марок в год — не значило ли это полнейшей и спокойнейшей уверенности в завтрашнем и даже в послезавтрашнем дне?

Нельзя сказать, чтобы место для клуба было выбрано очень удачное... Председатель правления Хорьков как-то сказал мне, морщась, когда однажды вечером мы вышли вместе с ним на угол Штреземанштрассе:

— Чорт его знает, и кто это выбрал место для клуба, посмотрите сколько проституток в этом районе. Вот хорошо, что я сейчас с вами иду, а ежели бы один — ведь проходу не дадут.

Место, что и говорить, было сногсшибательное. Даже самые скромные выдвиженцы, попадавшие в Берлин откуда-нибудь из подмосковных заводов, и те становились смелее после того, как они несколько вечеров побывали в советском клубе. Ибо вокруг кишмя кишело жрицами свободной любви. Здесь по-

близости находится Потсдамский вокзал и другие рынки для этого производства.

Если в СССР клубы являются больше всего символом достижений пролетарской революции, то за границей клуб советской колонии носит совершенно другой характер. С одной стороны, большевики всеми силами стремятся овладеть не только р а б о ч и м временем своих подданных, но и их досугом, а с другой — в такой клуб приглашаются и иностранные коммунисты, и советчикам хочется пустить им пыль в глаза.

Одним словом, на наш берлинский клуб отпускались очень большие деньги, и обставлен он был сравнительно прилично. Внизу был прекрасно оборудованный гимнастический зал, пионерская комната и стоял большой стол для пинг-понга, которым молодежь особенно увлекалась. Во втором этаже помещался буфет, библиотека и читальня, а также несколько комнат для различных кружков. И, наконец, в третьем этаже был большой зал со сценой и комнаты, в которых помещались духовой и струнный оркестры, составленные, главным образом, из немецких коммунистов, и другой зал, в котором время от времени устраивались те или иные выставки, например, фотографическая и т. п.

В принципе советские служащие должны были проводить все свободные вечера в клубе „Красная Звезда“, но на практике туда было трудно заманить кого-либо, особенно в первый год нашего пребывания в Берлине. В то время заведующий клубом, какая-то мрачная личность



совершенно не подходил для этой роли, делом своим не интересовался, и в клубе была зеленая скука. Единственной приманкой был кинематограф, и этим пользовалась администрация для того, чтобы хоть как-нибудь затянуть туда служащих. Обычно устраивался кинематографический сеанс, а перед ним—часовая или полуторочасовая лекция или просто заседание, на котором приезжий из Москвы оратор делал очередной советский доклад. В виду того, что доклады и в СССР всем до смерти надоели и каждый, едучи за границу, полагал, что хоть там-то он отдохнет от набивших оскомину трафаретных фраз, выкриков и призывов, — без кино на такой доклад трудно было заманить хоть кого-нибудь. И кино спасало положение.

Звуковое кино в СССР тогда еще не было известно, хотя за границей уже начинало входить в моду. В клубе пускались фильмы только советского производства, причем представительство Госкино в Берлине, подготавливая их для Германии, вырезывало советские надписи, и уже в таком куцом виде фильм поступал на один вечер в наш клуб. Зрителям приходилось самим догадываться, в чем, собственно, дело. Позже, когда в истории берлинского клуба настала блестящая эра Мачерета, этот jovиальный и энергичный человек зачастую жертвовал собой для блага зрителей и брался читать надписи вслух, по либретто. Но тут происходили такие потешные инциденты, что весь зал прыскал от смеха в самых трагических местах, а в комических—ни у кого не было охоты смеяться. Ибо пока, бывало, Маче-

рет разберет впотьмах ту или иную надпись, особенно, если она бывала длинной, то действие на экране уйдет далеко вперед. Например: на экране — любовная сцена, в этот момент вбегают разъяренный муж и что-то яростно кричит. Мачерет же все еще комментирует любовную сцену и нежно рокошующим баском воркует:

— Моя дорогая, мое сокровище, скажи одно только слово, и я буду вечно твоим.

А на экране муж уже ломает стулья о голову несчастного любовника.

Или, помню, давали как-то советскую кино-хронику, причем, так как тогда колхозы как раз начали сильно входить в моду, публике представляли колхозных героев — доярок и коров. Сидевший вплотную к экрану и потому не видевший фильма, Мачерет в этот вечер особенно запаздывал, так что в конце концов, вышло так, что доярка дает двенадцать литров молока в сутки, а корова — это ударница, делающая честь советской стране, избранная делегаткой на какой-то с'езд.

Легко представить себе рев восторга, встречавший такие комментарии. Наконец, Мачерет махал рукой и уходил за кулисы. А диалоги действующих в фильме лиц оставались для нас, зрителей, навсегда загадкой.

Мачерет сменил первого заведующего, который немилосердно проворовался и был спешно откомандирован в Москву.

Небольшого роста, кругленький и добродушный, человек этот обладал царственным дарованием Юмора, с большой буквы. Доста-

точно ему было появиться на сцене и сказать несколько слов, как зал уже радостно ржал в ответ, все сразу веселели, морщины расглаживались. Мачерет был в Москве режиссером какой-то труппы, и не знаю, какими правдами или неправдами ему удалось получить это, словно для него созданное, место заведующего клубом „Красная Звезда“.

С Мачеретом клубная жизнь оживилась, начались любительские постановки в стиле Синей Блузы, причем Мачерет сам сочинял злободневные пьесы в стихах, полные добродушной иронии с намеками на торгпредских служащих. Мачерет работал действительно не за страх, а за совесть. Если вечерами он должен был неотлучно пребывать в клубе, то целыми днями он носился по торгпредству, стараясь поймать то одного, то другого члена правления клуба, чтобы выпросить у него то разрешение, то личную помощь. Он никогда не выходил из себя, несмотря на то, что с ним иногда обращались совершенно по хамски, заставляя его ожидать по три часа в коридоре, пока нужное ему административное лицо освободится. Нужно добавить, что у Мачерета было еще одно незаменимое свойство — он удивительно умел уговаривать людей. Из этого свойства и вытекал его успех во всех начинаниях. Правда, только по первоначалу. Через год на Мачерета стали косо поглядывать, а через год и два месяца он тихо и незаметно исчез с берлинского горизонта, и на

его месте в клубе появилась новая мрачная фигура какого-то бывшего чекиста.

Клуб зачах.

## ПАРИКМАХЕР БОРУХОВ

— Тамара Владимировна, вы знаете, у нас, в торгпредстве, теперь будет свой парикмахер, — возвестила как-то всеведущая Тася из Отдела Кадров.

— Серьезно? Откуда вы знаете?

— Как же, он только что приехал из Москвы и был у нас, а потом его принял сам Бегге. Для него, говорят, парикмахерскую оборудуют при столовой.

— Что же, его специально сюда командировали, как парикмахера?

— Да нет, он — очень важная птица, у него большие революционные заслуги...

Но в эту минуту зазвонил телефон, Тасю требовали вниз, в Отдел Кадров. И она убежала, не успев договорить до конца.

Через несколько дней, придя в обеденный перерыв в столовую, служащие были удивлены происшедшей там переменой. Одну четверть зала отделили двумя стенами, за которыми слышался характерный для ремонта стук молотков.

Около меня как раз обедал Мачерет, и я его спросила, в чем дело.

— Парикмахерскую для Борухова устраивают.

— Ведь это, наверное, массу денег будет стоить?

— Да, но это делается по приказу из Москвы.

— А вы не знаете, товарищ Мачерет, что у этого Борухова за заслуги; мне говорили, что он чем-то особенно отличился.

Мачерет сделал важное лицо

— Он сделал портрет Ильича из волос.

— Как из волос?

— Да так: резал-резал косы у своих клиенток — сманивал их на буби-копф, — а потом вышел этими волосами портрет Ленина и „Взятие Зимнего Дворца“ — и поднес Совнаркому. Ну, вы сами понимаете, какой эффект получился. Вот его и командировали за границу — чтобы он тут, на международной парикмахерской выставке, честь Советского Союза поддержал.

— Нет, вы это серьезно, не шутите?

— Да что же тут шутить, он сам об этом рассказывает, да еще и гордится-то как, вы бы посмотрели! Парень оборотистый, что и говорить.

Через несколько дней парикмахерская была готова, причем, как говорится — „дирекция не пожалела затрат“. Тут были и массивные зеркала, и мраморные умывальники, и все новейшие приспособления и мужской, и дамской парикмахерской. Нужно отдать Борухову справедливость, он был действительно хорошим парикмахером. Когда во время Вели-

кой войны он попал в плен к австрийцам, то и там его офицеры, по его словам, очень ценили за его „бархатные руки“. Борухов сам показывал мне в какой-то австрийской книжке воспоминаний одного из участников войны посвященные его „бархатным рукам“ несколько строк и очень этим гордился.

Так появился у нас в торгпредстве свой Фигаро. Ибо не прошло и нескольких месяцев, как Борухов стал самым настоящим торгпредским Фигаро. „Фигаро — тут, Фигаро — там“... Начиная от самого торгпреда и кончая самыми секретными сотрудниками Шифровального отдела, все брились и стриглись у него, а женщины завивались и мыли голову. Борухов обладал вкрадчивым и любезным характером, умел сказать во время нужный комплимент и постепенно стал, как я говорила шутя, моим конкурентом в области информации. Он знал все и вся и был в курсе всех торгпредских событий и перемен.

Однако, ничто не вечно под луной. В очередной переезд одних отделов из четвертого этажа в первый, а других — из первого в третий (таких переездов за три года моего пребывания в Берлине было двадцать шесть) парикмахерскую Борухова решили разделить на несколько частей и посадить в этих клетушках новых экономистов. Борухова же перевели в маленькую и темную закуту на пятом этаже, в самом конце длинного коридора. Тут не было ни окон, ни вентиляции. Борухов был уязвлен в своих лучших чувствах, жаловался

и божился, что будет жаловаться в Совнарком, но ничего не помогло.

Перед отъездом в отпуск я пришла причесаться к Борухову.

— Завтра еду в Москву, товарищ Борухов, завейте, пожалуйста, покрепче.

Обычно я предпочитала немецкие парикмахерские, но в этот день у меня было мало времени, и я забежала к нему во время службы. Так делали, между прочим, все, а начальство смотрело на такую непроизводительную трату времени сквозь пальцы, почему предприятие Борухова и процветало во всю.

— В Москву? Ой, товарищ Солоневич, у меня к вам будет большая просьба.

— Какая же?

— Прошу вас, зайдите вы, пожалуйста, к моей жене. Ведь вы знаете, — тут Борухов понизил голос и боязливо оглянулся по сторонам, — я уже с самого приезда хлопочу, чтобы ее тоже сюда выписать. Сами понимаете, мне приходится здесь помощника держать, деньги платить, а она там тоже без дела. Тут мы бы с ней такие дела завернули...

— А она разве тоже парикмахерша?

— Что за вопрос, не только парикмахерша, но и маникюрша. И вы знаете, товарищ Солоневич, у нас ведь в Москве квартиры нет, мы живем в одной комнатке, в подвале, а у нее ревматизм. Так я просил ее выпустить. Так они не выпускают, честное слово.

И в глазах Борухова изобразилась боль и тоска.

— Хорошо, товарищ Борухов, я зайду к вашей жене, но что ей передать?

— Передайте ей, пожалуйста, чтобы она подала прошение о выезде по болезни и чтобы приложила свидетельство от Арончика — она уже сама знает о том, что ей необходима операция. Тогда, может быть, выпустят.

Приехав в Москву, я нашла жену Борухова и передала ей поручение. Жила эта толстая и действительно больная женщина в одной комнатке с двумя подростками-детьми, в сыром подвальном этаже. Она очень обрадовалась весточке от мужа и просила, в свою очередь, передать, что хлопочет изо всех сил об отъезде, но пока ничего не удается.

Через полгода жену Борухова все же выпустили в Берлин, но когда потом дальновидный парикмахер стал хлопотать о том, чтобы дали выездную визу и его детям, то тут уж советская власть учуяла некий душок невозвращенчества и сказала: — аттандэ-с!

Борухову пришлось пока смириться, но, будучи человеком высоко-практичным, он надежды не терял и стал совершенствоваться в парикмахерском искусстве, учиться делать да-уэрвеллен (электрическую завивку), о которой в СССР до 1931 года вообще еще и понятия не имели, окрашивать каким-то особым способом волосы и пр. Жена его тоже училась в какой-то фешенебельной парикмахерской. Потом Борухову пришла мысль, что если ему удалось поймать советское правительство на портрет Ленина из волос, то почему ему не поймать и какого-нибудь капиталиста. Недолго



думая, он стал изготавливать портреты Форда и Эйнштейна, которые затем были отосланы оригиналам с почтительными письмами и с просьбой оплатить эти шедевры. Все торгпредство знало об этих Боруховских манипуляциях, и все над ним подтрунивали:

— Ну что, товарищ Борухов, сколько вам отвалил Форд?

— Ну как, товарищ Борухов, не прислал ли вам Эйнштейн вместо денег кусочек теории относительности?

Борухов не обижался, а наоборот, улыбался с горделивым и самодовольным выражением лица, точно говоря:

— Смейтесь себе на здоровье, вот вы еще увидите, какой Борухов умный...

Но, увы, надежды его не оправдались. От секретаря Форда пришла кисловатая благодарность с извещением, что, так как мистер Форд такого портрета не заказывал, он не считает нужным и платить за него, а Эйнштейн призвал на голову Борухова благословение Иеговы и этим ограничился.

Борухов замрачнел. Ни Европа, ни Америка не клюнули. Надо было выдумывать что-либо другое.

## КОЕ-ЧТО О МОСКОВСКИХ ПАРИК- МАХЕРСКИХ

В последний раз я видела Борухова в 1932 году уже в Москве перед самым отъез-

дом моим за границу. Электрическая завивка, завоевавшая за последнее десятилетие первое место в мировом парикмахерском искусстве, доплелась и в Москву, в виде какой-то средневековой пытки. Когда я работала с иностранными делегациями в качестве переводчицы, мне как-то пришлось повести одну довольно капризную американскую делегатку в лучшую парикмахерскую Москвы — в Гранд-Отеле. Это было незабываемое зрелище!

На втором этаже, в холодной и пустой комнате, сидели и стояли в очереди советские гражданки, а худая и желчная парикмахерша смачивала какую-то вонючей, ядовитой жидкостью пряди волос очередной жертвы и накручивала их на палочки. Вследствие того, что в СССР существует так называемая „монополия внешней торговли“, частное лицо не имеет права выписать из заграницы необходимых ему машин или инструментов. Выписывается только то, что необходимо государству. Все, что касается красоты и радости жизни, отходит на задний план перед пятилетками. При таких условиях — уже не до электрических машин для завивки дамских волос, ведь в СССР и дам-то больше нет, есть только гражданки и товариши.

Поэтому советские парикмахерские отличаются азиатской примитивностью, и все больше развивается подпольное обслуживание клиенток. Так, дамы дипломатического корпуса имеют своих частных парикмахеров и маникюрш, которые приходят к ним на дом. Что же касается до такого удобного и практичного

способа, как дауэрвеллен, то тут уж и особам дипломатического корпуса приходится покоряться и снисходить до Гранд-Отеля. И при этом не забудем, что русские парикмахеры — одни из лучших в свете, у них очень легкая и мягкая манера брить и причесывать и много собственного вкуса.

Когда вся ваша голова представляет сплошные палочки и вы начинаете походить на зулуску или уроженку островов Фиджи, вас — в данном случае мою американскую делегатку — проводят в какую-то закуту в нижнем этаже. Здесь с совершенно безразличными и усталыми лицами восседают четыре девицы, с лицами фабричных работниц, и у каждой в обеих руках по какому-то железному инструменту, вроде вафельницы. Между работницами горят и издают невероятное зловоние жаровни с углем. Работницы раскаляют свои орудия пытки до красна и затем захватывают каждой рукой по одной пряди волос, накрученных на палочку. От волос идет дым, пахнет гарью, клиентки визжат и стонут, но ведьмино действие продолжается. Работницы лениво и грубо слегка приподнимают свои щипцы только в тех случаях, когда явно начинает гореть кожа на голове и когда стоны завиваемых гражданок начинают переходить какие-то таинственно-допустимые границы. В остальное же время они остаются совершенно равнодушными и к визгу, и к воплям, иногда отвечают и просто дерзостью.

Интересно было наблюдать за реакцией нашей американки на это невиданное зрелище.

Она в страхе ухватилась за меня и воскликнула:  
 — Что это такое? Нет, нет, ради Бога, только не заставляйте меня садиться на этот эшафот. Боже мой, да что же я буду теперь делать? Разве у вас в Москве нет настоящей человеческой парикмахерской с аппаратом для permanent?

Что я могла ей ответить? Да, она должна покориться своей судьбе. Ведь покоряются же, в конце концов, тысячи русских женщин? Чем она лучше других?

Во всяком случае, это было незабываемое зрелище: американка, „прижигаемая“ московскими ударницами. Когда я, наконец, вышла с ней на улицу, она вся во власти пережитого бормотала:

— Dear me, dear me, what a country!\*)

\* \* \*

В Москве давно уже нет частных парикмахерских. Все парикмахеры объединены в артели, и я интересовалась условиями их труда. Они работают официально 8 часов в сутки, а неофициально и 10, и 11. И в то время, как прическа в более или менее приличной парикмахерской стоит 3 рубля, они получают всего 80 к.; остальное пожирают налоги, займы и артельный аппарат, ибо каждая артель должна иметь штат, бухгалтерию и прочие онеры. В силу того, что парикмахерских, сравнительно с населением Москвы, мало, парикмахеры пе-

\*) Боже мой, Боже мой, что за страна!

регружены до предела, у каждого стоит очередь в несколько человек, и весь день расписан. Понятно, что при такой напряженной, почти конвейерной, работе пропадает индивидуальный подход, все механизмуется. Но нет, например, электрических машин для стрижки, нет жидкости и аппаратов для permanent и многого другого.

\* \* \*

Но пора вернуться к Борухову. Летом 1932 года моя сослуживица по Международному Комитету Горнорабочих — Урыссон-Фушман, о которой я рассказывала в книге „Записки советской переводчицы“ и которая, как жена заместителя народного комиссара легкой промышленности, проживала в Доме Правительства, сообщила мне:

— А у нас, в Доме Правительства, открывается образцовая парикмахерская, по последнему слову техники, с кабинками, ожидальнями, мягкой мебелью и всем таким.. Вот красота!

— Кто же это открывает?

— А какой-то парикмахер, вернувшийся из заграницы, будет очень шикарно!

Только младенцу не пришло бы в голову, что парикмахер этот никто другой, как наш знакомый Борухов. Ибо кто еще из советских парикмахеров удостоился чести быть выпущенным за границу? Для верности я все же спросила:

— Это не тот, что вышил портрет Ленина волосами?

— Да, да, тот. А что, вы его знаете?

— Он был торгпредским парикмахером в Берлине.

— Ах, это чудесно, Тамара Владимировна, значит, будем все у него иметь „блат“, а то, ведь вы знаете, когда откроется — народу повалит масса, хорошо иметь зацепку, чтобы в очереди не ждать. Не хотите ли сегодня пойти со мной после службы посмотреть, как там все устраивается?

— А знаете, это идея, пойдете.

\* \* \*

Дом Правительства находится на левом берегу Москва-реки и представляет собой огромный, массивный блок десятиэтажных зданий. В 1932 году он еще не был совсем закончен, и дворы были забиты щебнем, досками и камнями. Но все квартиры были уже заняты. Урыссон проживала в десятом этаже, куда нас быстро доставил лифт. Пока Евгения Исаковна переодевалась, я осмотрелась кругом. В мирное время такая квартира была достоянием каждой более или менее обеспеченной семьи: здесь было четыре комнаты и кухня с ванной, особенной отделки или комфорта не наблюдалось. Но для Советского Союза такая квартира является определенной роскошью. Ведь подавляющее большинство населения живет страшно скученно, а получить отдельную квартиру в Москве можно только за очень крупную сумму, этак в порядке 200,000 рублей. Моя бывшая ученица по Минской Марининской

гимназии, а ныне известная исполнительница народных песен Ирма Яунзем, например, промучившись долгие годы в одной комнате, наконец, смогла купить небольшую квартирку из 3-х клетушек, правда, со всеми удобствами—за 130,000 рублей.

Интересенъ в СССР порядок получения квартиры в кооперативных домах и околпачивания трудящихся масс. Обычно дело бывает так: какое-нибудь крупное учреждение или жилтоварищество замышляет построить дом или несколько домов. По данному учреждению распространяются подписные листы, причем условия бывают обычно очень заманчивыми. Вы обязаны уплатить паевой взнос в размере, скажем, ста рублей, а затем у вас из жалования будут отчислять ежемесячно: у служащих—10 процентов, у рабочих — 8 процентов. За это вы получите две, три или даже четыре комнаты — на обещания жилтоварищества обычно не скупится — с ванной и с центральным отоплением. Вы вносите паевой взнос и на некоторое время становитесь счастливейшим из смертных, ибо у вас появляется светлая надежда на лучшее будущее. Я тоже в свое время была записана в такой кооператив и тоже лелеяла надежду... Потом проходит год, два, истекают сроки, вы начинаете волноваться, начинаете бегать на ту улицу, где строится „ваш“ дом, наводите справки, когда же дом будет готов... Но по мере того, как воздвигаются стены, штукатуруется фасад и вообще завершается стройка, лица правленцев становятся все менее приветливыми. Затем вас

просто перестают принимать и с вами прекращают всякие разговоры. Козлом отпущения на некоторое время является секретарь жилтоварищества, которому приказано к председателю правления никого из пайщиков больше вообще не пускать. А затем, увы, в дом в'езжают совершенно неизвестные вам жильцы, вам же предлагают, если желаете, получить ваши взносы обратно, но возврат этих трудовых грошей облекается обычно в такую грубую форму и обставляется такими трудностями, что вы машете рукой и в сотый раз проклинаете советский режим.

Об'ясняется же это просто. На „паевые взносы“ закладывается фундамент, затем берется ссуда в банке, так как на лицо „трудящиеся“, которым, как известно, принадлежит все в Советском Союзе, и начинается постройка. По мере ее возведения, моссовет отбирает себе известный процент жилплощади — и это является совершенно законным, — а затем появляются всевозможные люди, которые так или иначе имеют туго-набитый кошелек — вот вроде моей Ирмы Яунзем — и делают так называемый „целевой“ взнос. То есть вносят всю сумму, полагающуюся за квартиру, сразу. Здесь пахнет уже десятками и сотнями тысяч. Жилтоварищество деньги эти приемлет и потирает руки. Для смазки дают пару-другую квартир партийным верхам — и дело в шляпе. Судиться с таким жилтовариществом пробовали некоторые идеалисты, но из этого ровно ничего, кроме порчи нер-



вов и траты денег, не получилось. Рабочие и служащие остаются — как и всегда в СССР — с носом. . .

\*  
\* \*

В столовой, где Евгения Исаковна угостила меня чаем с домашним печеньем на подсолнечном масле — другое в то время в Москве достать было трудно, даже имея книжки в привилегированные кооперативы, — меня удивило какое-то шуршанье и потрескивание. Пораженная, я спросила.

— Евгения Исаковна, что это у вас трещит? Вроде сверчков.

Она улыбнулась.

— Правда, странно? Даже не сверчки, а кузнечики. Самые настоящие. На первый раз может показаться даже поэтическим: подумайте, на десятом этаже в центре города и вдруг — кузнечики. Но à la longue это становится просто невыносимым. И потом, не подумайте, что они такие безобидные — у меня пару шелковых чулок испортили, совершенно источили.

— Но где же они у вас водятся?

— В стенах, между кладкой и обоями. Это еще что, у нас и клопы — представьте себе — водятся. Просто спасения нет.

— Но ведь дом только что построен, даже еще не закончен.

— И все-таки, особенно надоедают кузнечики, их ведь тут сотни. Днем еще ничего, как-то к ним не прислушиваешься, а вот ночью

просто несчастье, спать не дают. Ци-ци-ци. Очевидно, сырые материалы ставили, когда строили, говорят, что, якобы, торфом заполняли пустые пространства между кирпичами, вот теперь и сказывается.

Я подумала, что если даже для своего правительства советы строят такие дома, то чего же требовать от других построек.

\*  
\* \*  
\*

После чая мы отправились посмотреть новую парикмахерскую. В левом фасаде Дома Правительства, над кооперативом, мы нашли Борухова. Конечно, это был он, и очень обрадовался, встретив знакомую по Берлину. Он немедленно повел нас осматривать свои владения. Ибо, как он гордо раз'яснил, все подчинено ему и он всем заправляет.

— Вот здесь, товарищ Солоневич, будет приемная, а здесь — видите, медные обручи — на них будут висеть плюшевые драпировки, как в лучших берлинских „салонах“, а здесь — особые приспособления для маникюра, кабинки, а здесь — курильная комната, вы только подумайте — специальная курильная комната.

— А аппарат для permanent будет?

Борухов прищурил один глаз и хитро на меня взглянул:

— Аппарат-то я привез, сколько мне трудов стоило, чтобы достать лицензию! Впрочем, не мне вам об этом рассказывать, вы же сами знаете, как трудно достать лицензию. Так вот, аппарат-то я привез, но только по

ставил им здесь условие: если они мне и моей семье дадут квартиру здесь же, в Доме Правительства, то дам этот аппарат сюда, в парикмахерскую, а не дадут — не дам и я.

В этот момент в дверях зала появилась группа по европейски одетых женщин и мужчин, и какая-то девица подошла к Борухову и что-то сказала ему на ухо.

— Ах, простите, товарищ Солоневич, — засуетился он, — это французская делегация Интуриста, они хотят осмотреть парикмахерскую. Тут, знаете, много этих делегатов ходит, приходится показывать — как никак достижение.

И Борухов горделивым жестом обвел рукой кругом. А затем, галантно изогнувшись, побежал к делегатам.

\* \* \*

Месеца через полтора, проходя мимо Дома Правительства, я зашла посмотреть, готова ли парикмахерская. Все находилось еще в том же виде, что и во время моего первого визита. Борухов — похудевший и недовольный — разразился филиппикой:

— Это же чорт знает что такое! Я вам говорю — такого кабака я еще нигде не видал. Чашки — вы понимаете — простые фаянсовые чашки не могу достать. Заказаны уже четыре месяца тому назад, так не высылают. И потом, разве здесь люди понимают шик, я вам говорю, здесь никто шика не по-

нимает. Из моей сметы половину скостили, просто нет удовольствия работать.

— А ваша жена тоже вернулась?

Борухов посмотрел на меня почти презрительно:

— Что значит — вернулась? Ее вернули, а не она вернулась. Ведь мы так хорошо последнее время в Берлине обосновались, я хотел свою парикмахерскую открыть, так нет — заладили одно: возвращайся, Борухов, да возвращайся. Дошло до того, что паспорта не хотели в полпредстве продлить. Ну и вернулся. Хотел им кусочек Европы здесь устроить, так разве с нашими дураками кашу сварить?

— Ну, а квартиру дают?

— Пока все обещают, но уж я им — дудки — аппарата не дам, пока не вселюсь.

— А я за границу уезжаю, хочу с вами попрощаться.

В глазах Борухова отразилась зависть

— Да что вы? Вог счастливая. Ну, кланяйтесь там от меня Берлину, хо-о-роший город!

## О НЕМЕЦКИХ КОММУНИСТАХ

По мере того, как проходило время, в орбиту моего внимания входило все большее и большее количество торгпредских служащих. И почему-то, по какой-то странной аналогии,

вспоминался новочеркасский институт, где я в свое время училась. Как в институте были две категории воспитанниц — „живущие“ и „приходящие“, так и в торгпредстве были служащие советские и „туземные“. Помню, с какой завистью смотрели мы, „живущие“, на „приходящих“. Да еще бы было не завидовать! После уроков они складывали книги в ранцы, шли в раздевалку, надевали собственные пальто и шляпки и уходили в неведомый большой город. Мысль наша улетала за ними и рисовала счастливую картину свободной, веселой жизни в домашней обстановке, вдали от ненавистных „синявок“ (классных дам). Мы же — „живущие“ — должны были почти круглый год оставаться в четырех стенах института, гулять только один час в день по асфальтовым дорожкам окруженного высокими каменными стенами институтского сада, вставать и ложиться по звонку и носить только казенные безобразные, сиротского вида, пальто и однотипные безвкусные нашьепки вместо шляп.

В торгпредстве я поймала себя на такой же зависти. Эти немецкие коммунисты и коммунистки, которые работали в берлинском торгпредстве бок о бок с русскими, жили своей, совершенно обособленной жизнью. И тогда, как над нами — советскими — висели всякие запреты, слезки, собрания, посещения клуба, а главное — неумолимая мысль об неотвратимом откомандировании в СССР, — немцы были свободны, как ветер. Эта прекрасная, благоустроенная, сытая Германия — была их

страной, и хотя они подкапывались под самые ее устои, тем не менее она относилась к ним, как истая родина-мать, а не как родина-мачеха. Уходя после работы по домам, они знали, что из тех денег, которые они получают в торгпредстве, они могут, как делает всякий истый немец, откладывать каждый месяц известную сумму, а потом купить себе либо то, что является затаенной мечтой каждого немца без различия политических убеждений — Grundstück (земельный участок), либо построить себе Wochenendhaus, либо приобрести мебель для квартиры. Для них деньги имели особый смысл, тогда как для нас — подсоветских — деньги были только для того, чтобы по возможности их истратить здесь же, за границей, и не привезти ни пфеннига в СССР. Ибо в СССР на эти деньги можно было купить только одну сотую часть того, что на них же можно купить за границей. А для провоза белья, платья и прочего существовала такая жесткая норма, что все равно получаемых денег для нее было слишком много.

\* \* \*

В Бюро Прессы и Информации работали две германские коммунистки — Эмми Эгер и Соня Гендлер. Мне приходилось диктовать ежедневно одной немецкие, а другой русские письма. Ибо Соня Гендлер была, в сущности, бессарабской еврейкой, знала русский язык и только по паспорту числилась немкой.

Когда я впервые увидела Эмми Эгер в ка-

бинете моего шефа, Бродзского, мне и в голову не пришло, что такая хорошенькая, грациозная и милая девушка может быть коммунисткой. Во всяком случае, в России это было бы невозможно — по той простой причине, что такая девушка немедленно выскочила бы замуж, и ей было бы не до политики. Но здесь, в Берлине, это было фактом: Эмми Эгер была членом КПД — *Kommunistische Partei Deutschland*. Это не мешало ей быть очень трудолюбивой, аккуратной и скромной — настоящей Гретхен. Единственное, что отличало ее от ее средневекового прототипа, это была любовь к спорту. Словом, она была вроде тех представителей молодежи, которые бродят в свободное время ватагами по германским полям и весям и поют мелодичные вандерфогелевские песни. На мужчин она смотрела по-товарищески и на заигрывания Житкова, например, отвечала полным достоинством равнодушием. Но зато летом, когда после воскресного отдыха Эмми приходила на работу, загоревшая от солнца, оживленная и точно светящаяся каким-то внутренним светом — чувствовалось, что она не одинока и что она кого-то любит.

Как-то я решилась ее спросить:

— Ну, Эмми, у вас, наверное, много женихов?

Она зарумянилась.

— Да, я скоро выхожу замуж.

— А что, он тоже коммунист?

— О, да, и очень активный — руководитель районной ячейки.

— Так что вы работаете вместе?

— Разумеется. И знаете, как много работы? Иногда пол ночи приходится за машинкой просиживать. Ведь у нас в партии мало кто имеет свою машинку, вот ко мне все и идут.

Я поняла, что весь коммунизм Эмми Эгер родился из ее любви к жениху, и это мое мнение подтвердилось, когда я попробовала глубже разобраться в ее политических познаниях. О Советской России она имела очень смутное представление, всецело и раз навсегда поверив продиктованным Коминтерном сказкам, преподносившимся на страницах „Rothe Fahne“ и „А. J. Z.“. Любознательностью же Эмми не страдала. Прослужив в торгпредстве более восьми лет, она так и не удосужилась изучить русский язык, несмотря на то, что пыталась работать в одном из кружков.

Каждое лето Коминтерн устраивает для иностранных коммунистов поездку на советские курорты. Так было и летом 1929 и 30 г. г. Германская компартия выпустила заранее специальные приглашения, произвела запись и отбор. Соня Гендлер тоже была в числе едущих. Я спросила Эмми:

— Почему бы и вам не поехать? Посмотрели бы, как там живут. Для вас это было бы несомненно интересно.

Чувствуя, что Эмми сделана из добротного материала, я особенно хотела, чтобы именно она своими глазами убедилась и в голоде, и в нищете, и в отсутствии равенства в „отечестве всех трудящихся“. Но она не решилась ехать без своего жениха, а тот был



занят пропагандой к предстоящим выборам в рейхстаг.

Скоро Эмми вышла замуж и стала фрау Майер. Прошло несколько месяцев, и в ней произошла заметная перемена. Всегда розовое личико побледнело, жизнерадостные глазки стали припухать от слез, тревога и беспокойство наложили свой отпечаток на все ее существо.

Однажды, во время утренней диктовки писем, я спросила, не больна ли она. Она вдруг уронила голову на стол и горько расплакалась. Сквозь рыдания она рассказала мне свою трагедию.

Оказалось, что муж ее с двумя другими коммунистами принимал участие в ночной слежке за каким-то национал-социалистом, потом была организована засада, и... муж Эмми пырнул ножом какого-то наци. Теперь он вынужден скрываться, так как боится, что его выдадут полиции, не ночует дома... Эмми же места себе не находит от страха и тревоги. Тем более, что она ожидает ребенка. Что ей теперь делать?

А через некоторое время товарищ Майер был нелегально, но благополучно переправлен через границу и очутился в Советском Союзе. С женой переписывался редко, через третьих лиц.

\* \* \*

Не так давно, будучи в Берлине, я зашла к одной знакомой портнихе, которую мне в

свое время порекомендовала Эмми. Живет она в берлинском Нордене, в пролетарском квартале. Был как раз какой-то политический праздник. Меня приятно поразил вид улиц. Тогда как при веймарском режиме во многих окнах были вывешены красные флаги с серпом и молотом, теперь вся улица была залита багряными полотнами флагов с национал-социалистической свастикой. Мне было отчасти интересно погрузиться в рабочую семью, в которой когда-то вращались коммунисты, Эмми Эгер, ее муж, и многие другие немецкие служащие торгпредства.

Мать семейства, бледная, увядшая женщина, проведшая всю жизнь за швейной машиной, всегда порицавшая коммунистические веяния, занесенные в ее семью подростками дочерьми или, точнее, их ухажерами, встретила меня с некоторой опаской. Она помнила, что в свое время я работала в советском торгпредстве и боялась, как бы я теперь при новом режиме не скомпрометировала ее дом.

Но когда я рассказала ей, что работала в торгпредстве, совершенно не сочувствуя большевикам, и что теперь вся наша семья ведет большую антикоммунистическую работу, ее недоверие пропало и она разговорилась.

— Девочки мои обе работают. Старшая скоро выходит замуж за одного молодого человека, у него собственная пекарня. Серьезный такой. Вот посмотрите.

И она сняла со стены семейную группу: молодой человек выглядел действительно серь-

езным и был в форме Штурм-Штафель: черная рубашка и свастика на рукаве.

— Он национал-социалист?

— Да, штурмфюрер. Уж я так рада, что теперь в нашем доме не бывает этой коммунистической шантрапы. Это все Эльза приглашала, потому что за ней коммунист тогда ухаживал. А в общем, знаете, против Гитлера ничего не могу сказать. С тех пор, как он пришел к власти, все как-то гораздо спокойнее стало. То бывало мои девчонки на демонстрацию в Лустгартен бегали, а полиция вечно наготове была. Я всегда так за них волновалась. А теперь все тихо, гладко. Да и на работе девочкам лучше стало. Подумайте, могла ли я когда-нибудь раньше мечтать о том, чтобы поехать в Баварию? Двадцать пять лет из Берлина никуда не выезжала. А в этом году дочь старшая записала нас на дешевые поездки „Kraft durch Freude“ — знаете? И поехали мы за очень дешевую цену в горы, около Берхтесгадена. Вот красота! Там же и жениха моя дочь нашла.

Я решила спросить о моих торгпредских сослуживицах.

— А где теперь Эмми и Соня?

— А вы не знаете? Эмми в Москву уехала к мужу. До последнего времени все еще в торгпредстве работала, а потом пришла ко мне и несколько платьев заказала. Я еще удивилась, думаю, чего это она так раскутилась. Она тогда ничего не сказала, что уезжает. Видно, боялась, чтобы ее не выдала. А потом я от матери ее узнала. Та плачет, бедная,

убивается. Эмми редко пишет, сообщала только, что до сих пор комнату не может найти. Муж ее где-то далеко от Москвы работает, а она с ребенком и двумя подругами в одной комнатке пока живет.

— А Соня?

— Ах, эта, противная, так коммунисткой до сих пор и осталась. Уж я ее и принимать перестала. Как придет, сейчас ругать новый режим начинает, и, знаете, — тут фрау Х. понизила голос, — она, по моему, до сих пор для коммунистов работает подпольно. Муж ее арестован был и сидел несколько месяцев в лагере на голландской границе. Мы уж думали, что канут ему, ведь он заядлый коммунист был, в „Роте Фане“ одним из редакторов работал. Ан, смотрим, выпустили, да еще и располнял как точно из санатория какого вышел. Поваром, оказывается, в лагере работал. А ребенок Сони — ужасно испорченный мальчишка, балованный, непослушный — хоть и неариец, а теперь в нашу же немецкую школу ходит. Шульце его ведь усыновил.

\* \* \*

Читая в газетах о многочисленных арестах среди иностранных коммунистов в Советской России и о том, как шестьдесят австрийских шутцбюндовцев забаррикадировались в австрийском посольстве в Москве в ожидании визы, — я иногда вспоминаю об Эмми. Не сидит ли и она где-нибудь в Бутырской тюрьме, и не стало ли ей, наконец, ясно, что такое большевизм.

Допустим, что вам зачем-либо понадобилось зайти в советское телеграфное агенство в Берлине — „ТАСС“. Тщетно искать его адрес в адресной или телефонной книге, ибо большевики страх как боятся черных и коричневых рубашек и для неполюющих дипломатической неприкосновенностью учреждений предпочитают нанимать частные квартиры на имя какого-нибудь из своих служащих.

Но если вам все таки посчастливится узнать адрес ТАСС'а, то вы найдете это достойное учреждение в одной из коротеньких улочек берлинского Вестена, соединяющих Лютцов-Платц с каналом. Вы войдете в высокобуржуазный дом, поднимитесь по крытой ковром и украшенной мозаичными окнами лестнице и позвоните у массивной двери, на которой красуется чья-то невинная визитная карточка.

Вам откроет худошавая особа с бегающим, неприязненным взглядом и с некоторой претензией на кокетство. Дальше порога она, впрочем, вас не пустит, если вы не докажете, что вы — „свой“, или что вы пришли по предварительной договоренности. Эта женщина — моя бывшая сослуживица по торгпредству, опасная и активная коммунистка Соня Мацис-Гендлер-Шульце, беженка из Бессарабии, ставшая после войны румынкой, а в Германии вышедшая замуж за советского гражданина Гендлера. У нее есть советский паспорт, который она хранит в каком-нибудь надежном тайнике и который ей открывает двери для возвращения в любой момент в СССР, если это почему-либо окажется нужным и удобным для нее или

для партии. Но так как ей хочется жить в Германии, а поступить в немецкую компартию может только германская гражданка, она развелась с Гендлером и вышла замуж за немца-коммуниста Шульце. Того самого, который, попав в гитлеровский концентрационный лагерь, прибавил в весе. Впрочем, он и при веймарской республике отбывал наказание в Гольновской крепости, так что стаж у него порядочный. Этот стаж дает Соне возможность иметь синекуру в советских учреждениях: лет семь она проработала в торгпредстве, после чего перешла в ТАСС.

Если я говорю о синекуре, то это потому, что в мое время, как работница, Соня Гендлер-Шульце никуда не годилась, была ленива и дерзка, и половина дня у нее проходила в собирании членских взносов и в печатании нелегальной большевицкой литературы на машинке.

Пришли к власти национал-социалисты. Но ни Соня Гендлер, ни ее муж Шульце не удрали в СССР. Ибо оба не глупы и знают, что там живет очень несладко. Как-то летом Соня ездила на крымские курорты. Она видела, чем пахнет в советском раю, ее на мякине не проведешь. Чем ей плохо в Германии? Она по-прежнему получает около 400 марок в месяц и временно надела на себя личную спокойной беспартийной бюргерши. Не будем заглядывать в ее личную жизнь и в то, чем она занимается по вечерам... Соня является типичной интернациональной коммунисткой, одной из тех, что по самой натуре своей являются апатридами, ненавидящими всякий поря-

док и всякую родину. Она не немка и ненавидит Германию. Она не русская и ненавидит старую Россию. Только большевизм близок ее завистливой и жестокой душе. Спрятавшись за немецким паспортом своего последнего мужа, она тщательно скрывает свое неарийское происхождение. А к подпольной работе ей не привыкать стать... Здесь так легко ничего не делать и подавать вид, что делаешь очень много — пойдите, проверьте...

Но поглядим на других немецких коммунистов.

## ТОРГПРЕДСКИЙ ЖУРНАЛ

Вскоре после того, как откомандировали Житкова, произошло очередное „переселение народов“, т. е. перемещение отделов торгпредства из одного этажа в другой, с одного конца коридора в противоположный и т. д. Чем вызываются подобные переселения — никто сказать не может; думаю, что совершается это стихийно, в силу того вечного духа неуверенности и беспокойства, который так характерен для большевизма. Подобно тому, как „укрупняются“ и „разукрупняются“ в СССР наркоматы и прочие учреждения, точно так же, в зависимости от какой-то неведомой стихии, отделы учреждений переезжают из одного конца здания в другой, будь это огромный тысяче-

комнатный Дворец Труда в Москве, или здание берлинского торгпредства.

Встретив в эти достопамятные дни заведующего хозяйством, я спросила:

— Товарищ Хайкин, а куда вы нас поместите?

— На самый верх, за столовой.

— Что? Да ведь я — бюро информации. Это полный абсурд запикивать меня в самый верхний этаж, да еще и в конец коридора. Кто из посетителей меня там найдет?

— Да, но зато у вас будет совершенно отдельная комната.

Я не поверила своим ушам. Неужели теперь, после двух лет слезки, меня, наконец, оставят совсем одну, и не будет никого, кто бы контролировал мою работу? Но сделать вид, что я рада — было бы величайшей ошибкой. Поэтому для вида я продолжала артачиться.

— Комната-комнатой, но нужна ведь и логика. Человек приходит в первый раз в торгпредство, хочет навести справку: к кому ему обратиться, в каком отделе покупают то или другое, где продают лес или хлеб. И вот, для того, чтобы навести справку, он должен подняться на четвертый этаж, пройти длиннейший полутемный корридор, чуть не стукнуться о темный его конец, повернуть направо и дойти до конца еще другого корридора. Сами подумайте — можно ли придумать что либо менее разумное?

— Товарищ Солоневич, не я составлял план, не я и отвечаю.



Аппелировать дальше к логике и разуму было бы бесполезно. Я помчалась наверх, чтобы посмотреть, куда же меня засунут. Комната действительно оказалась отдельной, но ее почти нельзя было назвать комнатой. В ней можно было с трудом поместить письменный стол, этажерочку с книгами и два стула. На большее нечего было и рассчитывать. А если ко мне будет ходить меньше посетителей, то это и лучше.

И вот, через несколько дней перетаскивания вещей и бумаг, устройства на новом месте и прочей кутерьмы, я уместилась в малюсенькой комнатке под чердаком. Моего шефа Бродзского уже давно откомандировали в Москву, и на его место сел его бывший соперник — германский коммунист Рихард Эринг. Это была в достаточной степени подленькая личность, подлизывающаяся к сильным и принимающая горделивую осанку перед слабыми. Комната его находилась рядом с моей, но так как о советских законах и делах он имел не очень много представления, в силу уже одного того, что в СССР был только очень короткий срок и то давно, еще при жизни Ленина, то ко мне он относился с некоторым почтением, стараясь обходить острые углы.

Его главные функции заключались в издании ежемесячного торгпредского журнала „*Sowjetwirtschaft und Aussenhandel*.“ Журнал был довольно скучным и содержал, главным образом, статистические данные (а кто не знает, что такое советская статистика!) об экспорте и импорте СССР, присылавшиеся из Москвы

статьи о все растущем благосостоянии советских масс, о всевозможных достижениях, открытиях, изобретениях. Эмми Эгер, кроме стенографирования писем, ведала еще и картотечкой абонентов этого журнала, на ней же лежала и его экспедиция. Журнал поглощал большие деньги и, конечно, не окупался, но большевики не скупятся на пропаганду, в какой бы форме она ни проводилась. Эринг получал 800 марок в месяц и лез из кожи вон во имя вящей славы Сталина. Однако, если бы ему дали больше и предложили безнаказанно перейти в другой лагерь, мне думается, он перешел бы немедленно. Это был карьерист чистой воды и трус первостепенный.

После прихода Гитлера к власти Эринг немедленно исчез из торгпредства и, по некоторым сведениям, находится теперь в советском торгпредстве в Антверпене.

Его ближайшая помощница — венгерская еврейка Фридман, жена известного левого художника Джонни Харфильд — была довольно образованной коммунисткой. Она хорошо знала языки и была незаменимой помощницей в разъяснении некоторых „неувязок“ советской действительности, особенно когда дело шло об околпачивании германской прессы. Ибо часто в „Berliner Tageblatt“ или „Berliner Börsen-Zeitung“ можно было прочесть статью о какой-нибудь новой советской стройке. Статья очень ловко подгонялась к крупному заказу, только что выданному советами какому-нибудь германскому заводу. Экскаваторы или подъемные

краны, заказанные Круппу, или электрические установки, размещенные у АЭГ, служили поводом для того, чтобы дать, например, лестную статью о Магнитострое.

## В ПОЛПРЕДСТВЕ НА ПРИЕМЕ ПРЕССЫ

Как-то утром у меня на столе раздался один из повседневных телефонных звонков, и вкрадчивый голос Фридман спросил:

— Товарищ Солоневич, не хотите ли пойти сегодня в полпредство на прием прессы?

Я удивилась. Хотя с Фридман у меня установились довольно хорошие отношения, я никак не ожидала с ее стороны такого приглашения.

— Ничего не имею против, но как же это устроить, ведь я в полпредстве решительно никого не знаю.

— Это ничего не значит. Мы с Джонни приглашены, но он не хочет идти, а одной мне как-то неприятно. Пойдемте прямо после службы вместе?

— Хорошо, а это не будет неудобно?

— Нисколько, ведь вы придете со мной.

Я уже и раньше догадывалась, что брак Фридман с Хартфильдом очень неудачен, что Джонни крайне капризен и изменяет жене направо и налево. Часто она приходила на служ-

бу заплаканной, иногда заходила в мою комнату, чтобы вызвать его по телефону без того, чтобы ее разговор слушал Эринг. В таких случаях разговор неизменно приобретал драматические формы:

— Джонни, почему ты не вернулся утром домой?

— . . . . .  
— Где ты был, Джонни?

— . . . . .  
— Опять с этой женщиной? Когда же это кончится?

— . . . . .  
— Где же мы увидимся? Ведь ты знаешь, что после работы у меня заседание, а когда я приду, тебя опять не будет дома?

— . . . . .  
— Ах, так ты еще смеешь меня оскорблять!

Не получая ответа на свое последнее восклицание, Фридман бросала трубку и убегала в полуистерике.

Так было и теперь. Я поняла, что если Фридман пригласила меня в полпредство, то просто потому, что ей не с кем туда пойти, а пойти, очевидно, надо — не ради нее самой, а опять таки ради того же Джонни. Как никак он делал карьеру в коммунистических журналах, и даже шли разговоры о том, что в Москве собираются открыть выставку его рисунков.

Я справилась у Фридман, необходимо ли переодеваться, но она ответила, что чем проще, тем лучше, и что там будет „все по домашнему“. Такие приемы прессы устраивались в

полпредстве периодически, но я как-то ими не интересовалась и ничего о них не знала.

После службы мы с Фридман сели в подземку и доехали до Französische Strasse, а там прошли кусочек до Унтер ден Линден пешком.

Фридман нажала кнопку у ворот, дверь отворилась, и мы прошли в вестибюль направо. Здесь нам надо было расписаться в книге и показать пригласительную карточку. У Фридман было приглашение на имя Хартфильд на два лица, так что швейцар меня свободно пропустил. Мы прошли в голубой салон. Думаю, что вся роскошь и великолепие убранства остались еще от царского времени, ибо мебель была довольно старинной и удобной, бархатные портьеры спускались до самого пола красивыми и тяжелыми складками. Веяло богатством, довольством, и все было очень корректно.

В салоне уже сидели группами на диванах и креслах десятка полтора мужчин и женщин: разговор шел исключительно по немецки. Меня поразило подавляющее большинство евреев. Я шепотом осведомилась у Фридман о фамилиях некоторых из присутствующих и о печатных органах, которые они представляли. В ответ я услышала все знакомые названия левых газет, левых журналов, левых издательств.

В это время в салон вошел высокий пожилой человек — это был первый советник полпредства Бродовский, теперь уже расстрелянный. Обойдя всех для рукопожатия, он барским жестом пригласил гостей в следующую комнату, где был сервирован чай. Стол буквально ломился от сэндвичей, тортов, пирож-

ных и конфет. Публика перешла в столовую и стала быстро поглощать сладости. Фридман, которая знала почти всех и которую все знали, оставила меня на произвол судьбы, так что я, напившись чаю, села в уголок и стала наблюдать. Бродовский переходил от группы к группе, и нужно было видеть, как подобострастно разговаривали с ним все эти журналисты... Создавалось впечатление какой-то очень большой зависимости. Общий разговор не клеился и постепенно многие стали уходить. Я постаралась незаметно пробраться к двери, чтобы ни с кем не прощаться. У самого выхода Бродовский разговаривал с каким-то молодым и энергичным евреем. Краешком уха я расслышала слова:

— Не беспокойтесь, *Genosse* Бродовский, все будет сделано, согласно инструкциям.

Я подумала: куда идет Германия, если представитель советов имеет влияние на такую большую часть прессы?..

## АПТЕКАРЬ ИЗ БОСТОНА

Как-то утром раздался стук в дверь.

— Войдите.

В комнату как-то бочком просунулся полный низенький еврей, в добротном клетчатом пальто, повидимому, иностранец.

— *Bitte, treten Sie näher.*

Он заговорил на каком-то странном наречии, на смеси немецкого и английского.

Оказалось, что он хочет ехать в СССР и пришел узнать, можно ли туда провезти штук двадцать самопишущих ручек и вообще подарки родным.

— А вы надолго туда едете?

— Нет, только на месяц. Я, видите ли, сам русский, только уже двадцать пять лет как эмигрировал в Америку и там натурализовался. Теперь у меня два дома в Бостоне и четыре аптеки. Но в России у меня остались родные — сестра, племянники. И вот я решил поехать туда посмотреть, как там живет. Вы знаете — газеты такие разноречивые дают сведения, что не знаешь, где правда, а где ложь. В письмах пишут, что живется им хорошо, но все просят денег. Мы — у меня в Америке еще есть и брат, но он живет отдельно — посылаем время от времени по сто долларов. А теперь я хотел бы лично посмотреть новую Россию, чего там добились и как все там устроено.

— Не проще ли тогда говорить по русски? — предложила я.

Мой посетитель сконфузился.

— Я, видите ли, стал уже забывать русский язык. Понимать-то все понимаю, но сам говорю с трудом. Кстати, скажите, пожалуйста, правда, что там, в России, голод, или это только врут газеты?

Мне пришлось дать ему неопределенный ответ, вроде: „Вот поедете сами и увидите, что правда“. Потом, движимая чувством любопытства, я прибавила: „На обратном пути, если будете ехать через Берлин, заходите и рас-

скажите о ваших впечатлениях и о том, что вам удалось провезти“.

Мистер Брукс распрощался и ушел. В повседневной тогпредской суете другие посетители как-то ступшевали мое о нем воспоминание.

\*  
\* \*

После от'езда комиссии Ройзенмана начались перемены, откомандирования и прибытия новых сотрудников. Для меня в бюро информации это означало большую дезорганизацию чисто технического характера, так как расстроилась вся более или менее налаженная система справок. На списке отделов и сотрудников, лежавшем у меня на столе под большим стеклом, не было буквально ни одного живого места. Начальники отделов, помощники, инженеры, корреспонденты — все полетело вверх тормашками.

В качестве общественной нагрузки, на меня возложили обязанности секретаря комиссии по изучению немецкого языка. Иными словами, я должна была вести учет учеников, составлять кружки, следить за преподаванием и вообще стараться по мере сил, чтобы не знающие немецкого языка сотрудники поскорее усвоили его. Это была чисто культурная работа, и поэтому я отнеслась к ней более или менее серьезно. Я считала, что чем больше русских людей будет знать немецкий, тем лучше. В наивности своей — странно, но даже пятнадцать лет советского хозяйничанья



не могут заставить человека окончательно ни во что больше не верить — я полагала, что хоть по этой линии не будет халтуры.

До ройзенмановской чистки работа в кружках шла относительно сносно. Еще Олигер в свое время пригласила нескольких добросовестных учителей-немцев, которые оплачивались самими учениками. Время от времени происходили испытания, после чего некоторые сотрудники от дальнейшего изучения языка освобождались. Большинство их приезжало в Берлин с известным знанием языка, считая даже таких лоботрясов, как, например, Житков, который все же хоть читать по немецки как-то умел.

Но после чистки началось нечто невообразимое. В торгпредство стали прибывать из Москвы сплошные выдвиженцы. Говорили, что Сталин решил „руссифицировать“ внешнеторговый аппарат. А так как в самом Наркомвнешторге все еще царствовали Розенгольц, Розенблюм, Розенфельд, Розенбаум и прочие, то они стали слать самых неспособных, самых простых, самых бестолковых, но русских людей. Можно сказать, что 1930-й год был во внешней торговле годом выдвиженчества. Что из этого вышло и какие конечные убытки понесла советская внешняя торговля — об этом знают лишь секретные архивы Наркомвнешторга, да ГПУ. Это были страшные и сумбурные месяцы.

Ежедневно открывалась дверь в мою комнатенку под чердаком, и вваливались по двое, по трое, по четверо каких-то новых лю-

дей, в кепках, сдвинутых на затылок, в бесформенных советских „польтах“.

— Товарищ, как мы из Москвы приехали, хотели бы, значит. . . того. . . на немецкий записаться.

— А вы на постоянную работу приехали?

— Известно, на постоянную. Как бы так, чтобы мы месяца в три научились по немецки говорить?

— А вы в Москве немецкий изучали?

— Я нет, а вон Мишка курсы посещал. Слышь, Мишка, ты ведь на курсах был?

— Да какие там курсы, походил две недели, а потом отправили в командировку, где тут научиться.

У меня опускались руки. С одной стороны, мне было жаль этих своих, родных по крови, русских людей. Чем меньше человек образован, чем меньше он знает — тем меньше он виноват в большевизме. Ибо его-то уж так легко обмануть самыми элементарными демагогическими приемами. А с другой стороны, как научить такого Мишку в три месяца читать, писать и говорить на совершенно незнакомом, да еще таком трудном языке, как немецкий?

Записывала всех этих Мишек, Сенек и Степок в кружки. Но ровно через две недели оказывалось, что данным учителем они недовольны, что от него они ничему научиться не могут, что они просят перевести их к другому. От другого они переходили к третьему а потом... потом назначились экзамены, при

чем ком'ячейка заранее составляла списки тех, кто по каким-либо причинам казался ей неподходящим, и жертвы эти неминуемо на экзамене проваливались. Законы же тем временем сыпались из Москвы драконовские: кто в течение трех месяцев не овладеет немецким языком в степени достаточной для того, чтобы вести переговоры с фирмами и оформлять заказы, подлежит обратному откомандированию в СССР. Так и проходил этот сумасшедший год в вечной смене персонала и в неслыханном выбрасывании на ветер российских народных денежек.

В Отделе Кадров заведующие тоже долго не засиживались. Как я уже писала, Сергеева и Иоффе сменил Евгеньев, потом Евгеньев слетел, и на его место прислали совершенно тупого „старого большевика“ Охлопкова, причем всем управляли Дора Гончарова и Торская, а к началу 1931 года и Гончарова, и Торская уступили место Машкевичу. Легко себе представить, что при такой чехарде оставалось от других отделов. Только пух летел.

\* \* \*

Я сижу за своим столом и разбираю почту. Один за другим входят посетители, дают справки, на столе трещит телефон. Очередной стук в дверь. Входит некто, но я в это время говорю с кем-то из города. Вошел, остановился у двери и дальше не идет. Наконец, я положила трубку, поворачиваю голову, всматриваюсь.. Там стоит как будто мистер

Брукс. Только вид у него какой-то странный, голову опустил. Вместо добротного пальто — какой-то прорезиненный макинтош явно советского происхождения. Наконец, он поднимает голову, и наши взгляды скрещиваются.

— Ах, это вы, — говорю я. — Ну что, вернулись? Как ездило? Расскажите все по порядку.

— Ох, — еще издали вздыхает он, — ох, десять фунтов потерял.

Я не сразу соображаю, в чем дело. Десять фунтов... Почему фунтов, а не долларов, ведь он — американец.

— Где же вы их потеряли, здесь, в коридоре, может быть?

— Да нет, какое там в коридоре — там, в России, что-б их Господь Бог покарал...

— Садитесь, пожалуйста, — говорю я заинтересованно и почти мягко. — В чем дело?

— Десять фунтов собственного весу за один месяц потерял, как вам это нравится? Это разве страна! Это же сумасшедший дом...

Несмотря на то, что мы одни в комнате, я инстинктивно оглядываюсь по сторонам. Но тон посетителя так искренен, а вид у него настолько свидетельствует о том, что ему пришлось много пережить, что я ни на минуту не думаю о провокации.

Кряхтя и охая, мистер Брукс чистосердечно выкладывает мне свои горести. Подумать только, какое бесправие, какой ужас, какой голод и нищета царят теперь в его родном Витебске. Несмотря на то, что один из

его племянников состоит в комсомоле, вся семья сестры буквально голодает...

— И вы знаете, — говорит мистер Брукс, — ведь ободраны все, как липки. Я, знаете, везде был, все видел, я сам в очередях стоял за обувью для них, за калошами. В поезде спрашиваю проводника, который час. А он мне отвечает, что у него часов нет. Так я ему сказал, что у нас в Америке каждый проводник и кондуктор обязательно имеет часы. Вы думаете, он мне поверил? Только почесал в затылке и больше ничего. А террор! Родственники мои посещали меня только по ночам и старые знакомые тоже. Там есть такая мадам Непомнящая, богачи были раньше большие, так эта мадам Непомнящая поздно ночью ко мне пришла и плакала, я вам говорю, плакала, как маленький ребенок. У нее дочь есть в Нью-Йорке. Так она меня умоляла передать ее дочери, чтобы та ее как-нибудь выписала к себе. Ноги у нее распухли — у мадам Непомнящей — большевики ее всю обобрали, теперь живет старуха где-то в подвале. Со стен течет...

— Ну, и что же, вы им помогли?

— Что значит, помогли! Я все отдал, что у меня было. Вы видели мое пальто, а теперь видите, в чем я вернулся? Отдал зятю пальто, а потом все деньги, которые у меня были — а ведь я повез с собой две тысячи долларов, — все раздал, поодевал всех, пообувал. А когда они меня на вокзал провожали всей толпой, ой, и плакали же все.

— Что же, вы еще раз, может быть, к ним приедете?

Мистер Брукс посмотрел на меня, как на сумасшедшую.

— Чтобы я еще раз приехал в этот бедлам? Нет, довольно. Нам в старой России плохо жилось, эмигрировали мы в Америку, но скажу вам, что старая Россия — это ведь рай был по сравнению с теперешней. Я-то, сидя у себя в Бостоне, говорил своей жене — она у меня американка, ничего о России не знает — говорил ей: вот прошло двадцать пять лет, как я уехал, уже давно царской власти нет, может быть, все-таки люди добились свободы. Ну, а теперь собственными глазами увидел ее, эту свободу, будь она проклята. Каждый боится сказать что-либо лишнее. Вот и вы все оглядываетесь. Только мне нечего бояться, я ведь американский гражданин.

— Ну, а самопишущие ручки провезли?

— Да, вот одна только и осталась.

Он отвернул полу пиджака и показал во внутреннем кармане ручку. Рядом с карманом блестел какой-то значек.

— А что это за значек? — неизвестно почему полюбопытствовала я.

— Массонский.

Я от испуга и от неожиданности чуть не упала со стула. Подумать только — масон! Живой масон! Сидит здесь передо мной и спокойно говорит о своей принадлежности к этой страшной организации. И невольно приходят в голову воспоминания моей юности, когда мой дядя, Алексей Семенович Шмаков, ученый анти-семит и анти-масон, толковал о страшной роли масонства в мире, вернее, о его безграничном

владычестве над всеми странами без исключения. С тех пор прошло много лет, но в душе остался безотчетный страх перед масонством, как перед какой-то неведомой и злой силой. И вдруг теперь сидит себе разочарованный в советской действительности пожилой еврей и, как ни в чем не бывало, признается, что он, видите ли, масон...

Проходит несколько секунд в полном молчании, потом я решаюсь все-таки спросить:

— Вы в масонской ложе состоите?

— Да, конечно. У нас в Бостоне все более или менее приличные и состоятельные люди состоят в масонских ложах. Там собирается все хорошее общество.

Теперь я заинтересована. Страшно заинтересована.

— А скажите, какие цели преследует масонство?

— Цели? — Очень хорошие цели: благо человечества, любовь к ближнему, преклонение перед истиной...

Я разочарована, хотя нужно быть совсем глупой, чтобы предполагать, что мне — первой встречной — настоящий, всамделишный масон раскроет все тайные пружины своей организации. А потом, может быть, он играет там роль одного из „малых сих“, которые даже и не подозревают, каким разрушительным целям они служат.

— И что же, вы собираетесь вместе, надеваете особые одежды, даете тайную клятву?

— Да, на это все есть свой ритуал, и, конечно, все члены обязаны ему следовать.

Но что там — собираемся вместе, виски пьем...

К сожалению, наш разговор прерывается на этом месте телефонными звонками, мистер Брукс встает и прощается. В догонку я успеваю его еще спросить:

— Теперь вы там, в Америке, вашему брату расскажете обо всем, что видели?

Но мистер Брукс злорадно усмехается и в глазах его загорается насмешливый огонек:

— Нет, уж дудки, пусть он сам поедет и убедится. Он все пропагандирует, что в Советской России лучше, чем у нас в Соединенных Штатах. Ни слова ему не скажу!

## ПРИЕМЩИК ЧЕРВОВ

Одной из первых ласточек выдвигенческой волны был приемщик Червов. Маленький, коренастый сибиряк, бывший железнодорожник из под Читы, красный партизан во время борьбы с Колчаком, он был назначен директором какого-то промышленного предприятия, а потом отправлен за границу в качестве приемщика.

Я познакомилась с ним благодаря Житкову. Это было незадолго до его отъезда в Москву, и он ходил в достаточной степени мрачным. Однако, когда в комнату вкатывался таким мячиком Червов, чело Житкова прояснялось, и оба начинали балагурить. Нужно отдать справедливость Червову, он тоже принадлежал к категории „неунывающих россиян“.



Его не смущало почти полное незнание немецкого языка, не смущало отсутствие образования, а к Европе он относился полу-удивленно: „Ишь-ты, ведь как оно того, здорово!“ — полу-презрительно: „Куда там немчуре с нами тягаться!“ С ним то и дело выходили какие-то курьезы, так что и Житков, и другие товарищи над ним потешались.

Как-то после обеда, охая и хохоча, в комнату ворвался Житков.

— Ой, Тамара Владимировна, не могу. Нет больше моей моченьки, ой, ну, и потеха!

— Что случилось, Георгий Парфирьевич?

— Ох, прямо живот заболел от смеху, нет, вы подумайте только... Ванька Червов, нет, не могу...

И Житков, весь трясаясь от смеха, упал в изнеможении на стул.

Я уже знала о некоторых злоключениях Червова и спросила, заранее улыбаясь:

— Что, опять чегонибудь не понял?

— Да какой там не понял! Вы подумайте, Тамара Владимировна, его посадили временно в Металл-импорте, пока все оформят для его отъезда во Франкфурт...

— А что, его командируют во Франкфурт?

— Ну да, приемщиком. Но вы послушайте дальше. Посадили его, значит, вроде как заместителем отдела пока. Отдельная комната, стол, телефон и машинисточку немку дали на всякий случай, чтобы, значит, если кто зайдет в комнату, не напутал чего. Так вот, как телефон зазвонит, он, значит, все в телефон: как? как?.. А машинистку спрашивает немец-коре-

спондент: „Ну, как у тебя там новый начальник?“. Она отвечает: „Да что, он ничего не делает целый Божий день“. А немец все-таки допытывается: как, дескать, так ничего не делает? Ну, а немка ему по немецки, значит, и говорит:

— Er kakt den ganzen Tag ins Telephon.

И Житков залился смехом, вдвойне довольный и гривуазным анекдотом, и тем, что вот он теперь такие даже тонкости по немецки понимает.

— Теперь по всему торгпредству пойдет эта штука.

Я невольно расхохоталась вместе с ним.

— А еще что?

— А еще! Надясь, он, значит, в ожидании отъезда во Франкфурт пошел экипироваться. Ему сказали, что он должен совсем как бы на буржуя походить, чтобы его, значит, на том заводе уважали, куда его командируют. Ну, он, значит, котелок решил купить. Знаете — такую круглую шляпу — котелок.

— Ну, как же не знать, такую и принц Уэльский носит.

— Вот именно. Ну, только он от нас скрыть хотел, или удивить апосля. Только никого из нас не взял с собой — этакий ведь упрямый жук — да и гайда к Вертгейму. Но словарик карманный, значит, с собой все же взял; я ему сразу, как он приехал, посоветовал, говорю — без словаря ни шагу.

Я улыбнулась, вспомнив опыт Житкова с „живодером“.

— Нет, вы слушайте дальше. Вот приходит он к Вертгейму, глаза у него разбежались,

и то хочется купить, и это. С непривычки — сами знаете — как наши русачки на все кидаются. Но потом все же к цели решил итти. Подходит это к нему фрейлейн и спрашивает, что, мол, ему требуется. А он нашел еще заранее в словаре „котелок“ и говорит: Bitte, Kessel, Kesselchen... Та, значит, ему показывает, как пройти. По немецки — направо, вверх, налево — словом, как водится. Блуждал он блуждал, наконец, другая фрейлейн его в посудный отдел приводит и сдает какому-то молодому немцу. Он ему опять, значит: дозволейте мне, говорит, Kesselchen. Немец приносит ему кастрюлю за кастрюлей, чашку за чашкой, и полоскательницы, и умывальницы. Червов потел, потел, ажно чертыхаться стал, ничего не помогает. Наконец, сжалился над ним приказчик и ведет его к полке — а там, ну, как бы так сказать поприличнее — ночные посудины, значит, рядами стоят. На всякий-вкус. Тут уж наш Ванька разъярился, как загнет его по матушке: ты что, говорит, сукин сын, издеваться надо мной? Мне, говорит, на голову, понимаешь, так, мол, тебя и так, на голову мне котелок надоть. — Тот опешил, собрался весь обслуживающий персонал — ничего понять не могут. Наконец, догадались, послали за переводчицей — ну, та Ваньку и выручила.

\* \* \*

Прошло несколько месяцев. Житков уже был давно откомандирован, бюро информации

перекочевало наверх. В один из ясных весенних дней ко мне зашел Червов. Он еще больше округлился, стал носить большие роговые очки и походил на jovиального банкира. В первый момент я его просто не узнала — до того он как-то раздобрел и „обуржуазился“. Поздоровались, поговорили о том, о сем. Оказалось, что его уже откомандировывают из Франкфурта.

— Все, что надо было нам узнать на том заводе, — узнали, загадочно заявил он. — Теперь можно и в Берлине немножко поработать.

— Ну, как вам там жилось? — полюбопытствовала я.

— Чудесно, Тамара Владимировна, знаете, как хорошо!

И, как всякая славянская простая душа, Червов принялся посвящать меня во все детали его франкфуртского пребывания.

— Поселился я у одного инженера-немца. Квартира шикарная; обстановка, ковры, занавесы — загляденье. И живут только двое — он, да его жена, интересная такая дамочка. Ну, по первоначально трудновато было с языком, никак не объяснишься, но потом мне ее, знаете, до того жалко стало, Тамара Владимировна. Представьте себе, как у них тут женщина угнетена — муж ейный башмаки ее заставляет ему чистить. И не только себе, а и мне, как квартиранту — значит. Ну, тут уж я вступился: нет, говорю, этого никак допустить не могу. И стал ей помогать обувь на кухне чистить. Она это сначала косилась на меня, отмахива-

лась, а потом постепенно поняла нашу русскую душу. Ну, оно, конечно, не обошлось без того, чтобы я ее не приласкал. А теперь так меня полюбила, что страх. Хочу, говорит, мужа бросить и с тобой в Россию ехать. Я там, значит, за инженера шел. Негг Ingenieur, да Herr Ingenieur. Ну, я ее тоже баловал — конфеты, пирожные. А теперь скоро ее рождение. Тамара Владимировна, как бы так вы мне помогли, я бы хотел ей скатерть и двенадцать салфеток послать, только самых что ни на есть хороших. Пушай русскую душу знает.

Я слушала и думала, какой секрет заключается в наших русских людях, что они вызывают к себе такую глубокую и горячую любовь у иностранцев? Ведь вот приехало это черноземное сибирское существо в немецкий город, попало в, повидимому, культурную немецкую семью, и вот смотришь — уже примерная, может быть, до тех пор немка отдала ему свое сердце и, наверное, по истинно германскому обычаю, не скоро его забудет. И он — этот Червов, на руках которого так много невинно загубленных русских жизней там, в Сибири, который и теперь является сознательным членом самой беспощадной, самой бессовестной и бандитской партии в мире, сумел дать этой представительнице культурнейшей страны Европы что-то, чего не мог дать ей ее муж. Странно, особенно если принять во внимание, что и разговаривать то они толком не могли из-за незнания языка.

— А муж ее знал?

— Конечно, потом узнал. Гневался — страх как. Говорит: с'езжайте, мол, с квартиры. А она ему: ежели он, говорит, с'едет, то и я уйду с ним.

— Ну, и что же теперь будет?

Глаза Червова блеснули сметливым огоньком из под стекол.

— Что будет? А ничего не будет.

— Но почему же? Ведь вы, насколько я знаю, одинокий, могли бы жениться и взять ее с собой в Москву.

— Нет, уж куда там. Сами знаете ведь, она тут в холе жила, в сытости, а там у нас пока все еще наладится... Да и меня во всякое время неизвестно куда перебросить могут, где уж ей за мной таскаться. Вон смотрите — она мне теперь каждый Божий день письма пишет...

И Червов вытащил из бумажника несколько голубых душистых конвертов.

— А жаль, что я ни прочесть, ни ответить не умею.

— Как же вы даже и не отвечаете?

— Нет, да так и лучше, скорее забудет. Вот пошлю ей на прощанье подарок — и сказке конец. Кстати, Тамара Владимировна, будьте добреньки, прочтите, что она там пишет.

Я взяла одно из писем. Это было типичное письмо влюбленной женщины, нежное, ласковое и молящее: не бросай меня, возьми меня с собой. Письмо дышало искренностью и тоской.

— А вы разве давно оттуда уехали?

— Да я потом в Дюссельдорфе еще не-

дельки две проболтался, направил там связь кое с кем из рабочих.

Я поняла, что если буду дальше слушать, то он начнет говорить мне о том промышленном шпионаже, которым неофициально занимаются все советские приемщики и инженеры, командируемые на иностранные заводы. Им в этом помогают иностранные рабочие-коммунисты, иногда продают планы, часто выдают секреты производства, особенно в военной и химической отраслях. Мир об этом мало осведомлен. Только иногда появляются в газетах коротенькие заметки о казни такого-то, обвиненного в „государственной измене“.

\* \* \*

Червову недолго удалось погулять в Берлине. Как-то совершенно неожиданно он поругался с секретарем комячейки Сольской, потом столь же неожиданно его обвинили в антисемитизме и молниеносно, что-то в сорок восемь часов, отправили в СССР. У него была одна мечта — мотоциклет. И после долгих колебаний он его все же приобрел. Это был огромный и довольно безобразный Харлей Давидсон с колясочкой. При продаже фирма надраила Червова так, что ему удалось сдать экзамен и получить Führerschein. Когда он пришел прощаться, обиженный на комячейку и на весь мир, я просила его навестить моего мужа в Салтыковке и передать ему привет.

— Поезжайте с мотоциклетом, — сказала я, — и покатайте его.

— А то как же, непременно, — обещал он.

## БЕССОНОВ И БЮЛЛЕТЕНЬ

Вместе с торгпредом Бегге уехал в Москву и его верный помощник венгерец Ленгиль. Несколько недель продолжалось в нашем Экономическом управлении междуцарствие, но потом разнесся слух: приехал новый заведующий — Бессонов. Одни говорили, что это бывший редактор „Экономической Жизни“, сосланный за границу за правый уклон, другие утверждали, что он правоверный сталинец и назначен в торгпредство для наведения порядков. Впоследствии Бессонов был переведен в Лондон и закончил свою заграничную карьеру первым советником берлинского полпредства, т. е. перешел на чисто дипломатическую линию.

С первых же дней его пребывания в Берлине мне пришлось столкнуться с ним довольно близко. Он вызвал меня к себе и сказал:

— Товарищ Солоневич, вы, кажется, владеете иностранными языками?

— Да, владею.

— Мы теперь хотим издавать для всей советской колонии в Берлине этакий информационный бюллетень, ежедневную сводку всего того, что пишут иностранные, преимущественно



но немецкие, французские и английские газеты о советской торговле и о кризисе в капиталистических странах, а также о мероприятиях по отношению к Советскому Союзу. Ваши функции будут заключаться в том, чтобы ежедневно просматривать несколько газет и передавать по-русски все, что вы найдете необходимым. Насколько мне о вас говорили, вы в курсе таможенных формальностей, контингентов, лицензий и вообще экономически кое-что смыслите.

Я кашлянула.

— Это ничего, если вы в первое время будете не вполне уверены, я вам помогу. Но просто другого подходящего человека у нас сейчас нет...

Я подумала: „Извечная беспартийная кляча“.

— Только вот что. Имейте в виду, что бюллетень должен занимать не больше одного листа, густо написанного на машинке с двух сторон. Не больше, потому что сейчас же после того, как он будет готов — а готов он должен быть не позже двух часов дня — мы его будем посылать на ротатор. К концу занятий он должен быть разнесен по всем отделам торгпредства и отослан в полпредство и подчиненные торгпредству торговые учреждения, Дерутру, Дерунафт и прочие. Значит, не позже двух часов и не больше двух страниц.

Я стояла неподвижно. С одной стороны — какая интересная работа и как раз по мне. А с другой стороны — как же я совмещу всю мою теперешнюю работу по информации с та-

кой спешной и требующей большого внимания нагрузкой? Решила все-таки сказать о моих сомнениях Бессонову.

— Ничего, информация никуда не убежит.

— А посетители?

— Устройте послеобеденные часы приема.

Так родился торгпредский „Бюллетень“.

. . . . .  
. . . . .

## *К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ*

Эссенское издательство обратилось ко мне с просьбой написать не то продолжение, не то послесловие к незаконченной книге моей убитой жены. Мне еще и до сих пор очень трудно взяться за эту тему: с нею связано слишком много тяжелого и трагичного. Самое трагичное — это, может быть, сомнение: а не зря ли я подставлял всю нашу семью под большевицкий террор и не зря ли погибла Тамочка. Словом — вопрос об эмиграции вообще и о том, кто из нас был прав: семья Чернавиных или семья Солоневичей. Для русского читателя этот вопрос — понятен. Иностранному читателю я не стану его раз'яснять. Зачем об'яснять иностранному читателю наших Казем-Бекков, Скородумовых, Зинкевичей, зачем выстав-лять горький наш позор на выставку между-народной печати.

Но русский читатель поймет — почему мне так трудно заканчивать повествование Тамары Владимировны. О многом я не стану писать даже и для иностранных изданий. Я по опыту уже знаю: все, что попадетсЯ под руку, — горькая наша сволочь использует для того, чтобы вылить еще одно ведро помоев на еще свежие могилы мучеников. При моей нынешней

эмигрантской тренировке — уже не трудно относиться стойчески к помоям, выливаемым на меня самого. Но помои над дорогими могилами? Нет — до такой тренировки я еще не дошел.

Вот почему мой рассказ будет короток и сух.

**Иван Солоневич.**

## БОЛЬШЕВИЗМ И ЖЕНЩИНА

Три года, проведенных Тамарой Владимировной в берлинском торгпедстве, — это только одно из звеньев многолетних наших попыток бежать из веселого социалистического рая — бежать любым способом. Естественно, напрашивается вопрос: почему вот именно нам так приспичило бежать? Почему миллионов полтора ста русских людей более или менее мирно продолжают жить в границах этого рая и более или менее успешно следуют немецкому правилу: *bleibe im Lande und nähre dich redlich*?

Такого рода вопрос будет неправилен уже по самой своей форме. Если бы мы могли себе представить полную свободу отъезда из СССР за границу, то территорию одной шестой части земной суши покинули бы прежде всего мужики, потом рабочие, потом интеллигенция. На некоторое время остались бы коммунисты и евреи — потом уехали бы и они — ибо не осталось бы ни спин, ни шей, на которых можно было бы делать мировую революцию. Такая возможность, конечно, совершенно утопична. Но я все-таки не видал людей — ни мужиков, ни рабочих, ни даже евреев и коммунистов, — которые под тем или иным предлогом не тянулись бы куда-то из СССР. У му-

жика и рабочего это формулируется очень просто: удрать куда глаза глядят. У еврея и коммуниста — это принимает более дипломатические формы: хорошо бы поехать за границу в командировку, отдохнуть, набраться сил для дальнейшего продолжения великой и бескровной. Кое-кто и не возвращается — вот вроде товарищей Беседовского и Дмитриевского. Но удрать хотят все.

Желание удрать, конечно, имеет разную напряженность — в зависимости от политических убеждений, а также в зависимости от наличия или отсутствия оных. Там, где эти убеждения имеются, желание удрать может смягчаться либерально-демократическим „приятием“ революции: да, конечно, скверно, очень скверно — но что вы хотите: революция, раскрепощение, прогресс, муки рождения нового строя. . . Шиш можно показывать только в кармане. На другой стороне — политические убеждения могут создать ощущение полной нестерпимости, ощущение сплошного кровавого кабака, бесцельного и бессмысленного, ведущего страну к гибели. Играет роль и темперамент. Либерально-демократические убеждения рождаются не только и в результате брачного союза гнилого духа с гнилой книгой — они, по преимуществу, вырастают из врожденной трусости. Трусость уводит человека от жизни, запирает его, в лучшем случае в библиотеку, и населяет его душевный мир оторванными от жизни представлениями. Вот почему среди либералов всего мира так много

эрудитов и так мало борцов и творцов. Либерал — он бороться не может. В лучшем случае — он может скулить.

„Социальное происхождение“ и здесь играет некоторую роль. Русский либерализм, как и всякий другой в мире, вырастает из среды обеспеченных классов. Из той среды, которая не привыкла бороться за жизнь. Этот либерализм может иметь и монархический, и социалистический оттенок, но в обоих случаях — либерализм не столько политическая программа, сколько туберкулез духа.

Тамара Владимировна никогда никаким туберкулезом не была больна. Ее политическая биография сложилась довольно своеобразно. Она — дочь полк. В. И. Воскресенского — начальника штаба какой-то дивизии в начале мировой войны. Ее отца я видел только раз — когда он проезжал на фронт. Это был человек исключительного остроумия и единственный по тем временам, который, предсказал: война будет длиться не полгода и не год — а чорт его знает, сколько времени, и кончится, чорт его знает, чем. Я, в числе очень многих людей того времени, отнесся к этому пророчеству весьма иронически.

Тамара Владимировна окончила в 1911 году казачий институт благородных девиц в Новочеркасске — с высшей наградой — с золотым шифром. Новочеркасск, в числе прочих, весьма немногочисленных, своих достопримечательностей, имел и такую: во всем городе жил один единственный еврей, да и тот кре-

щенный: в эти места в'езд евреям был воспрещен категорически. Отец Т. В. был членом комиссии по проведению русско-японской границы на ове Сахалине, и свои каникулы Т. В. проводила у своего дяди — ген. А. Сташевского в Казани, где евреев тоже не было. Другой дядя Т. В. — московский присяжный поверенный А. С. Шмаков был основоположником русского антисемитизма. Его перу принадлежало несколько многотомных трудов по еврейскому вопросу. На эти темы он вел переписку со своей племянницей, но я весьма сомневаюсь в том, чтобы на „девушку в осьмнадцать лет“ тяжеловесные рассуждения А. С. Шмакова — со ссылками на арамейские тексты и с цитатами из Кремье — могли бы произвести какое бы то ни было впечатление.

Впечатление пришло с другой стороны. После окончания высших женских курсов в Петербурге Т. В. попала преподавательницей французского языка в минскую женскую гимназию. Минск несколько не был похож ни на Новочеркасск, ни на Казань. Евреи там составляли около 70% населения — влиятельного и захватившего в свои руки, если и не совсем власть, то во всяком случае деньги. Попав в это окружение, Тамара Владимировна вспомнила и арамейские тексты, и цитаты из Кремье. Во всяком случае — мы с ней познакомились на еврейской почве: я в те годы издавал антисемитскую газету „Северо-Западная Жизнь“. Тамара Владимировна давала в эту газету статьи — с цитатами из... А. С. Шмакова.



Это были дни знаменитого в свое время процесса Бейлиса. Два или три раза мне пришлось с револьвером в руках отстаивать типографию от еврейской толпы. Практика в этом отношении у меня уже была: когда, после убийства русского премьер-министра П. А. Столыпина, телеграф принес известие о том, что убийцей является не Дмитрий Богров, как раньше было сообщено, а Мордко Богров, нашу газету на улицах рвали в клочки — не для прочтения, а для уничтожения. И такая же еврейская толпа ворвалась в типографию. Я стрелял. Впечатление от двух или трех выстрелов, произведенных в воздух, было потрясающим. В дальнейшем оказалось достаточным просто показать револьвер. . . Вероятно, при этих обстоятельствах я фигурировал в достаточно героической позе. Во всяком случае — для нас лично дело Бейлиса кончилось браком. Повидимому, на той же почве наш брак кончился взрывом 3-го февраля.

В советское время Тамара Владимировна работала в учреждениях, почти полностью монополизированных евреями, — в органах внешней торговли. Ее основным „оружием производства“ было знание иностранных языков — то-есть, область внешних сношений. Туда, впрочем, ее влекла и надежда вырваться за границу более или менее легальным путем. Еврейское окружение и еврейское начальство давили на Т. В. невыносимым гнетом. И арамейские тексты А. С. Шмакова, и разъяренная горбоносая толпа, перед которой я стоял с

револьвером в руках, и еврейские комиссары революции — все это для Т. В. объединялось в страшном пророчестве Достоевского: „жиды погубят Россию“. Я был настроен несколько менее трагически: подавятся. Это было, кажется, единственное наше политическое расхождение.

\* \* \*

Как видите, с чисто теоретической точки зрения наши разногласия по поводу советской власти были не очень значительны. Гораздо серьезнее были те разногласия, если их только можно назвать разногласиями, которые вытекали из разницы в жизненных ощущениях. Из разницы между мужчиной и женщиной.

Я не принадлежу к числу сторонников так называемого женского равноправия. Одинаковые права предполагают одинаковые силы и одинаковые возможности. Суфражистская идея, нелепая в самой ее основе, советской практикой была доведена до полного абсурда. Я уже не буду говорить о равноправии голода. Но даже и это равноправие гораздо больше ударило по женщине, чем по мужчине. Не буду говорить и о равноправии на производстве, когда женщинам было предоставлено полное право работать на подземных работах, в шахтах Донбасса, таскать на спине кирпичи на московских стройках, рыть котлованы на Магнитке и рубить бревна в лесах концентрационных лагерей.

Даже и в этих условиях своеобразная подпольная конституция подсоветской массы выработала целый ряд способов оградить женщину от этого большевицкого „равноправия“. Даже и в концентрационных лагерях в мое время эта конституция действовала без осечек: это был вопрос чести для всех заключенных мужеска пола. . . В своей книге я уже говорил о том, что все вновь прибывшие заключенные, без различия пола, возраста и квалификации, должны были направляться в лес рубить дрова. На моей памяти не было случая, когда бы по отношению к женщинам это требование было проведено в жизнь. Мужская половина заключенного рода человеческого мобилизовалась вся, и здесь уж никакие административные угрозы ничего не могли сделать. Это была своеобразная мужская вежливость, знакомая и Западной Европе. Но цена этой вежливости Западной Европе не знакома. Мужчина, уступающий даме место в трамвае, рискует простоять всю остальную дорогу. Мужчина, путем служебного подлога, ограждающий женщину от лесных работ, рискует просидеть на Соловках всю свою остальную жизнь. Как видите, разница есть. Но я не помню случая, чтобы эта разница кого-нибудь останавливала.

Неписанная конституция подсоветской массы так же сложна, как и неписанная конституция Великобританской империи. Но и эти „конституционные гарантии“ не в силах огра-

дять женщину от звериной стороны советского быта. По большинству железных дорог ходят не пассажирские вагоны, а так называемые теплушки: товарный вагон, снабженный железной печкой и приноровленный под пассажирское движение. Никакой лесенки к этому вагону нет. Взобраться в него довольно трудно нетренированному мужчине. Женщине без посторонней помощи это и совсем невозможно. Гостиницы и общежития, неприноровленные для иностранных гостей, вместо кроватей и матрацев снабжены козлами и досками. Нашему брату, в конце концов, нетрудно растянуться и на досках. Женщинам труднее. Интеллигентной женщине совсем трудно. Нужны огромные мускульные усилия, чтобы влезть в трамвай, и приблизительно такие же, чтобы выбраться из него. Мужчины пробиваются левым боком вперед, женщины правым. Это разделение полов и боков объясняется довольно просто: у мужчины пальто застегивается справа, у женщины слева. Попробуйте прокладывать свой путь сквозь толпу против ваших застёжек, вы оставите в трамвае все ваши пуговицы. Но пробиться удастся не всегда. Приходится прыгивать на ходу, что опять-таки неодинаково легко для обоих полов. Служебная карьера, при всем советском равноправии, дает мужчинам большие возможности. Всякого рода чистки касаются обоих полов приблизительно одинаково. Но какой-нибудь комиссар предъявляет все-таки несколько разные требования к своим служащим мужского пола и к своим служа-

щим женского пола. Комиссары же делятся на две основных категории. Одна — это марксистские начетчики из бердичевских фармацевтов, другая — это питекантропы из русских отбросов городского пролетариата. Для служащей женщины — к голоду, усталости, непосильному напряжению, страху за свою жизнь прибавляется еще страх за свою женскую честь. Романтические устремления комиссара всегда поддерживаются тяжелой артиллерией постоянных сокращений, увольнений, чисток и арестов. Советское равноправие женщины имеет очень много аспектов, непредусмотренных даже и Карлом Марксом. Для интеллигентной женщины в особенности. И — еще в особенности, для интеллигентной женщины-матери. Жизнь тогда становится невыносима.

В этих условиях звериной борьбы, кулачного права, быта, который временами опускается до доисторического уровня, физическая сила играет огромную роль. Этот факт в некоторой степени объясняет и успешность нашего побега. Я был одним из сильнейших людей России. В 1914 году я занял второе место на всероссийских состязаниях по поднятию тяжестей — вид спорта, в котором Россия занимала после Германии второе место в мире. Я, кроме того, занимался почти всеми существующими в мире видами спорта. Но только при переходе России от двадцатого к доисторическому веку я понял все преимущества обладания огромным кулаком. К физической силе и к огромному кулаку плебс всегда относится с

почтением. Иногда даже с бескорыстным и мистическим почтением. Превосходство моральное и интеллектуальное — вещь темная и не всегда понятная. Кулак прост, осязаем и внушительен. Кулак беспорен. В особенности он беспорен в тех случаях, когда на прилепленной над ним физиономии выражается достаточно ясная решимость в нужный момент пустить его в ход.

В доисторическом быте советского кабака применение кулака весьма разносторонне. Иногда это применение ограничивается, так сказать, только символом. Когда на служебном горизонте Тамары Владимировны возникал романтически настроенный комиссар, то обычно устраивалось так: меня знакомили с ним, я несколько преувеличенно натуживал свою грудную клетку, говорил несколько преувеличенно натуженным басом и дружеским рукопожатием старался отбить у комиссара всякую дальнейшую охоту к романтическим приключениям. Эта система действовала без отказа. После такой встречи разговор обыкновенно переходил на атлетически-спортивные темы, а комиссар нацеливался на какую-нибудь очередную машинистку, не имевшую за своей спиной столь многопудовой поддержки.

Но ни конституция, ни кулаки не могут все-таки оградить подсоветскую женщину вообще, как не могли оградить они и мою жену, в частности, от быта неандертальской пещеры СССР. Мы, мужчины, как-то приноровились и к грязи, и ко вшам, и к прыжкам в трамвай и

из трамвая, и к звериной хватке за кусок мяса и кусок хлеба. Двадцатилетняя практика выработала новый вид русского человека, очень мало известного за границею и боеспособного в предельной степени. Но русскую женщину, культурную женщину в особенности, она поставила в отчаянное положение. Я уже не говорю о шелковых чулках. И я не буду вдаваться в суетные размышления о женском тщеславии. Я только отмечу тот факт, что необходимость одеваться в лохмотья для женщины гораздо более чувствительна, чем для мужчины. Тамаре Владимировне приходилось одеваться и в лохмотья. Когда мы жили в Москве, лохмотьев уже не было. И все-таки, когда Тамара Владимировна приехала в Берлин и оделась по европейски, она по советской привычке попыталась продать свое советское пальто, которое, по московским масштабам, было вполне фешенебельным. За это пальто ей предложили двадцать пять пфеннигов.

\* \* \*

От этого всего русская женщина гораздо более контр-революционна русского мужчины. Но, может быть, над всеми этими и мучительными, и смешными, и позорными, и трагическими мелочами подсоветского быта властно господствует самый основной, самый глубинный инстинкт, инстинкт женщины матери. Инстинкт, который первый стал поперек дороги большевизму. Женщина, женщина-мать — она

всегда созидательница. Своей семьи, своего очага и отсюда — своей нации. Большевизм разрушает и семью, и очаг, и нацию. Здесь примирения нет, и здесь примирения не может быть.

Планы побега мы переживали по разному. Я больше рассудочно, Тамочка больше эмоционально. Я шел, так сказать, ровным шагом. И после каждого провала готовил следующую попытку. Тамочка то плакала от бессильной ярости и отвращения, то не спала ночами от страха за меня и за сына. О себе она никогда не думала или, по крайней мере, не говорила. А заплатить своей жизнью пришлось именно ей. Но это случилось на много позже.

\* \* \*

Я боюсь, что лет через сто великая русская революция будет так же канонизироваться, как до сих пор еще канонизируется история французской революции. Либеральные ослы всего мира, вот вроде Карлейля, будут вздыхать о романтичности чекистских подвалов так же, как ныне они восторгаются стихийной мощью сентябрьских убийств. Могилы миллионов и десятков миллионов будут з а б ы т ы. Французская революция уморила голодом полтора миллиона человек. Так называемая русская революция уморила около пятнадцати. Пропорция почти одна и та же, около десяти процентов населения страны. Но, может быть, самое обидное заключается в том, что еще неизвестные нам будущие либералы и еще неизвестные нам будущие марксисты набросят покрывало романтики на бесконечную цепь



унижений, через которую прошли два великих народа. Романисты и историки будут вздыхать о мрачной героике революционных взлетов, повторять прелюбодейное:

„Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые“ . . .

и будут завидовать нам, счастливым, свидетелям великой эпохи. . . Или, по крайней мере, тем из нас, которые из этой эпохи ухитрились вырваться живьем. Совершенно забудут о том, что для всего народа, как раньше французского, так теперь и русского, история революции это есть история бесконечных страданий и бесконечного унижения.

При мысли об этих историках и романистах становится противно. Настоящая, нефальсифицированная история революции — это есть история разорения и унижений. Каждая русская семья в той или иной степени прошла сквозь эту историю. Именно здесь проходит красная нить всякой революции — именно эту нить будут всячески затушевывать будущие историки и будущие романисты. И нынешнему человечеству, которое стоит вне революции, и будущему человечеству, для которого революция станет далеким и романтизированным прошлым, нужно показать революцию такую, какую она есть: кровь, грязь и бесконечные унижения. Унижения, которые в одинаковой степени охватывают и вчерашних, и сегодняшних, и завтрашних жертв и палачей. От этого унижения избавлены только одни: те, кто честно погибли в бою. Гибель в бою это самая

дешевая плата, которую можно отделаться от революции.

Я не хочу, чтобы эту фразу поняли, как поэтическое преувеличение. Но если вы бы мне в 1917 году предложили на выбор: смерть в бою или все то, что я пережил от 1917 до 1938 года, я безусловно выбрал бы первое. И если во всех наших писаниях есть какой-то общий смысл, то он сводится к следующему: господа немцы, французы, американцы, англичане, если на вашу родину будет надвигаться марксизм в его нынешнем или в его грядущем варианте, хватайтесь за все, что попадает под руку. Если нет пулемета, то хотя бы за кухонный нож.

В моей книге я попытался дать лицо революции более или менее таким, каким оно существует в реальности. Не в виде грозного, но поэтического лика исторической Немезиды, а в виде миллиона присосков скользкого, безликого и безмозглого революционного осьминога. Осьминог страшнее гильотины. Гильотина рубит голову немногим, а осьминог присосался ко всем.

Эту сторону революционной реальности очень трудно показать. Есть вещи, которые слишком тяжело говорить и о себе самом и которые совершенно невозможно говорить о других. Есть темы, для которых нужен Достоевский. И эти темы никак не могут уложиться ни в мемуарные, ни в биографические формы. Переживания человека, ожидающего расстрела, несколько не так героичны, как об этом рас-

сказывается в романах. Если мне удастся закончить мой роман, люди прочтут там некоторые вещи о революции, вещи, которые никогда и никем написаны не были.

В этом очерке нет ни места, ни возможности писать о такого рода вещах. Большинство попыток нашего побега так запутано и так неправдоподобно, как и большинство биографий тех двух миллионов русских людей, которым удалось бежать от большевицкого рая и из большевицкого рая. Биографии тех людей, которым не удалось бежать, никогда не будут написаны. Месяцем позже нашего перехода советско-финской границы, в двадцати километрах от этой границы, был найден полуразложившийся труп человека, повидимому, интеллигентного — в золотых очках. Он погиб от голода уже на финской территории, не доходя нескольких верст до финской деревни. При нем была найдена размытая дождями предсмертная записка на русском языке, которой разобрать было нельзя. Его биография не будет написана так же, как не будут написаны биографии десятков миллионов людей, нашедших свое успокоение в братских ямах голода и расстрелов: имена же их Ты, Господи, веши.

\* \* \*

Русская интеллигенция восстала против большевизма с первых же дней его открытого появления на арене революции. На захват власти большевизмом интеллигенция ответила

всероссийской забастовкой. До забастовки врачей включительно. На забастовку большевизм ответил террором, от которого интеллигенция бросилась преимущественно на юг. На Украину — где разлив большевизма был остановлен германскими войсками, и на Дон — где стала сколачиваться Белая русская армия. По следам отхода немцев и разгрома Белой Армии волны беженства катились все дальше и дальше, и именно к этому времени относится перефразировка лермонтовского стихотворения:

„Бежать? Но на время не стоит труда,  
А вечно бежать невозможно“.

Для огромного большинства вечное бегство действительно оказалось невозможным. Многомиллионные массы беженцев, разоренных, голодных или отчаявшихся, докатились до Белого моря на севере, до Тихого океана на востоке и до Черного моря на юге. В портах Новороссийска, Одессы и Севастополя разыгрывались сцены Дантова Ада. Наличного тоннажа не хватило даже для одной десятой части желающих бежать. Большевицкое радио обещало отмену смертной казни и полную амнистию всем оставшимся. Еврей Вихман в Одессе и еврей Бела Кун в Баку расстреляли больше ста тысяч русских людей, которые, если и поверили большевицким обещаниям, то преимущественно потому, что делать все равно было нечего. В этой волне я докатился до Одессы, в которой редактировал белую газету, а семья застряла в Киеве, из которого я уехал последним поездом.

В дни эвакуации Одессы я лежал в стурдзовском сыпнотифозном госпитале, который в некоторой степени определил мою судьбу и начало моей советской карьеры: после выздоровления я стал санитаром в другом сыпнотифозном госпитале. Потом из Киева приехала жена с Юрочкой, и вот с этого момента начали строиться новые планы побега из коммунистического рая. Планы носили, так сказать, строго легальный характер. Бежать пешком с шестилетним ребенком не было никакой возможности. Планы были довольно однообразными: устроиться где-нибудь в порту, на таможене, на границе, так, чтобы до заграницы оставалось несколько шагов. Но в эти места пускали людей только с проверенными биографиями. У меня не было никакого желания пред'являть свою биографию на благоусмотрение ВЧК.

План был изменен. Решили перебраться в Москву с очень туманными перспективами попасть на заграничную службу. Однажды эти перспективы были совсем близки к реализации. Мне предложили занять место заведывающего клубом советского торгпредства в Англии, и я пришел домой, преисполненный самых радужных надежд. Утром на другой день я прочел в газетах о так называемом налете на „Аркос“ и о разрыве дипломатических сношений между Россией и Англией. Розовые надежды были отодвинуты до следующей okazji.

Они снова возникли с назначением Тамары Владимировны в Берлин. Проблема упроща-

лась до крайности. Жена и Юра уже за границей. В России остаемся мы с братом, и уйти пешком для нас ничего не стоило. Особенно по тем временам, когда охрана границы была еще не так организована, как в последние годы.

Но в планы, так хорошо выверенные и так тщательно продуманные, снова вклинилась случайность. Брат был арестован и сослан в Соловки. Я не собирался бежать за границу только для мирного жития — мирного жития и сейчас у нас нет. А антибольшевицкая работа за границей означала бы смертный приговор для брата. Впрочем, таким же приговором был бы и факт моего побега сам по себе. Нужно было прежде всего выручать брата. Это удалось только относительно. Брат был переведен в ссылку в Сибирь.

В январе 1931 года Тамара Владимировна получила предписание вернуться в Москву. Если бы она не вернулась, был бы арестован я. Если бы я бежал, был бы расстрелян брат. Советская система заложничества действовала, как действует и сейчас, — с беспощадной точностью. Жена вернулась в Москву.

Впрочем, за время пребывания Тамары Владимировны в Берлине я делал попытки легального отъезда: в командировку по спортивным делам. Мы исходили из принципа, что риск нужно свести к минимуму, и что те из нас, которые имеют шансы вырваться легальным путем, должны эти шансы использовать. Но из четырех моих попыток не вышло ничего. Два заложника в России были все-таки лучше од-

ного. И ГПУ систематически отказывало в ходатайствах обо мне самых солидных учреждений Москвы. Это было очень горькое возвращение. Здание, построенное с таким трудом, казалось, рухнуло окончательно. Получить еще одно назначение за границу Тамара Владимировна не имела никаких шансов. Юра уже вырос, и мы решили бежать пешком. Тамара Владимировна мужественно тренировалась в ходьбе, возвращаясь пешком со службы домой. Это было приблизительно двадцать километров. Эта тренировка давалась ей с большим трудом и была очень небезопасна для здоровья. Тамара Владимировна никогда никаким спортом не занималась, и все мои попытки в этом направлении кончались неизбежным крахом. Это, впрочем, не мешало ей до самого последнего дня ее жизни сохранить и пронести сквозь всю тяжесть революционных лет изумительный запас энергии и жизнерадостности.

Планы были выработаны и маршрут был намечен: через Карелию в Финляндию. До этого я ощущал туркестанскую, кавказскую и румынскую границу. Там не так трудно было перейти, но очень было неясно, как встретили бы нас персы, турки и румыны. Я узнал, что очень многих и за очень небольшую плату из большевицкого кармана персы выдавали обратно — на расстрел. Нынешний сотрудник моей газеты Виктор Робсман в 1931 году перебежал с женой персидскую границу и просидел три года в персидской тюрьме под угрозой выдачи его большевицкой власти.

Турки выдавали систематически. На румынской границе грабили и убивали. Польская и эстонская охранялись слишком сильно. Финская охранялась слабо, и за финской границей мы могли быть уверены в культурном и человеческом приеме. Эта уверенность оправдалась целиком. И если мне когда-нибудь суждено будет играть в будущей России какую-нибудь роль, я не забуду финского гостеприимства.

Летом 1932 года я сделал пешую разведку по направлению к финской границе от станции Кивач Мурманской железной дороги в направлении на село Койкоры на реке Суне и не дошел до границы двадцать верст. Около Койкор меня подцепили сельские активисты-комсомольцы. Мне стоило очень большого труда благополучно вырваться из этой разведки. Но из нее я выяснил одно обстоятельство: по таким местам Тамочка не пройдет. И как она ни клялась в своей выдержке и выносливости, дело было до безнадежности ясно. Двумя годами позже мы, атлетически сложенные и тренированные мужчины, прошли это расстояние: я с сыном — в шестнадцать суток, а брат — в двенадцать суток. Шли с предельным напряжением всех наших сил. Тамочка бы не прошла. Круг замкнулся и никакого выхода не было видно.

Выход подвернулся неожиданно, как иногда и случается в безвыходных положениях. Этим выходом оказался брак с иностранцем, каковой брак дал возможность Тамочке не только выехать легально, но и вывезти или,



точнее, переслать через некое иностранное учреждение наши семейные документы, письма, фотографии и даже ту пару боксерских перчаток, в которых я тренируюсь и по сей день. Мы трое должны были бежать пешком.

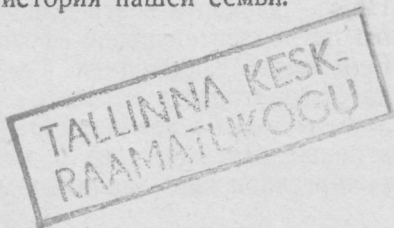
Очень трудно рассказывать о мучительности наших колебаний и о моментах нашего прощания. Через пять дней после отъезда Тамочки в Берлин мы должны были отправиться пешком. Мы отправились поздней осенью, заблудились в болотах и вернулись обратно. Дамоклов меч побега остался висеть еще на один год. Осенью 1933 года мы снова бежали и на этот раз попали в ГПУ. По условному письму Тамочка знала, что мы уже ушли, и затем для нее мы как в воду канули. Всякая женщина и всякая мать поймет ее переживания. Потом мы дали ей знать: мы арестованы и приговорены к восьми годам концентрационного лагеря.

Я позже узнал, какие фантастические, нелепые, иногда и истерические планы рождались в Тамочкиной головке. Были планы обмануть большевиков. Были планы их шантажировать угрозой убийства. Были планы заработать деньги и выкупить нас из большевицкого рабства. Но как заработать эти деньги? Тамочка служила преподавательницей французского языка в Берлине в „Крафт дурх Фрейде“, зарабатывала сто-полтораста марок в месяц и голодала, чтобы иметь возможность послать нам через наших петербургских и московских знакомых торгсиновские продовольственные

посылки. Все-таки скопила сто марок и поехала в Цопотт, чтобы там по самой современной и самой научной системе выиграть в рулетку... ну, хотя бы сто тысяч марок. Научная система стоила Тамочке двух месяцев дополнительной голодовки. Но посылки мы все-таки получали. И именно с этими посылками мы трое — я, Юра и Борис — бежали из концлагеря. На лагерном пайке не было никакой возможности собрать запасы, достаточные для двух недель пешего хождения по болотам.

На этот раз мы все-таки удрали. Почти полтора года мы прожили в Гельсингфорсе, пытаясь пробраться куда-нибудь к центрам антибольшевицкой борьбы. Тамочка продолжала работать в своем „Крафт дурх Фрейде“, ибо эта работа была единственной материальной зацепкой всех нас четырех. На каникулы она приезжала в Гельсингфорс, и мы снова строили розовые планы о том, как мы, наконец, после почти двадцати лет усилий и унижений, надежд и разочарований, начнем какую-то человеческую жизнь.

Бомба третьего февраля подвела под этими надеждами окончательную черту. Вот вам вся история нашей семьи.



463.510

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU



1 0100 00535451 5